

В. КАВЕРИН

Из разных книг



В. Каверин

В. КАВЕРИН



ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»
МОСКВА — 1961

Р2
К-12

Эта книга Вениамина Александровича Каверина входит в серию книг «Советские писатели — детям», выпускаемую издательством ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» в связи с 40-летием Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина.

В серии выйдут книги Э. Багрицкого, М. Горького, М. Исаковского, Л. Леонова, В. Маяковского, С. Маршака, К. Паустовского, Л. Соболева, А. Твардовского, Н. Тихонова, А. Фадеева, К. Федина, М. Шолохова, С. Щипачева.

Художник Ф. Лемкуль

Как пишутся книги

1

Я помню весенний день 1921 года, когда Горький впервые пригласил к себе молодых ленинградских писателей и меня в их числе. Он жил на Кронверкском; из окон квартиры открывался Александровский парк. Мы вошли и, так как нас было много, долго и неловко рассаживались: более смелые — поближе к хозяину, более робкие — на тахту, с которой потом трудно было встать, потому что она оказалась необыкновенно мягкой и подалась до самого пола. Эта тахта запомнилась мне навсегда. Опустившись на нее, я вдруг увидел свои далеко выставившиеся ноги в грубых солдатских ботинках. Спрятать их было нельзя. Встать?.. Об этом нечего и думать! Волнуясь, я долго размышлял о ботинках и успокоился лишь тогда, когда убедился в том, что у Всеволода Иванова, сидевшего рядом с Алексеем Максимовичем, такие же и даже немного хуже.

Чувство полной неизвестности — как себя вести — немедленно сковало меня, едва я увидел Горького. Меня поразили книжные полки, стоявшие не у стен и образовавшие как бы два ряда уютных маленьких комнат. К спинке кровати в кабинете Алексея Максимовича была прикреплена передвижная подушечка, назначение которой я понял не сразу: сидя на кровати, удобно было опираться на подушечку головой. Мне запомнились не только эти мелочи — десятки

других. Среди вещей, которые не имели права казаться обыкновенными, стоял и ходил человек огромного роста, немного сгорбленный, но еще с богатырским размахом плеч, окающий, прячущий мягкую и лукавую улыбку под усами. Это был Горький!

В известной книге Кэррола «Алиса в стране чудес» героиня на каждой странице испытывает странные превращения. То она становится такой маленькой, что свободно спускается в кроличью норку, то такой большой, что может разговаривать только с птицами, живущими на кронах высоких деревьев. Нечто подобное стало происходить со мною, когда я оказался у Горького. То представлялось мне, что я могу и даже должен вмешаться в разговор, завязавшийся между Горьким и старшими товарищами, вмешаться и сказать то, что решительно всех должно было поразить своей глубиной; то я съеживался — и тогда мне казалось, что на неудобной, низкой тахте сидит какой-то мальчик с пальчик, но не храбрый, как полагалось бы мальчику с пальчику, а испуганный и одновременно гордый.

Алексей Максимович заговорил с большим одобрением о последнем рассказе Иванова «Жаровня архангела Гавриила». Пожалуй, именно в это время начались мои превращения. Рассказ Иванова был очень далек от того, что интересовало меня в литературе, и высокую оценку Горького я понял как беспощадный приговор всем моим мечтам и надеждам. Алексей Максимович прочитал рассказ. Лицо его стало мягким, в глазах появилась нежность, в движениях — та размягченность души, которую хорошо знают те, кто видел Горького в минуты восхищения.

Он вытер платком глаза и заговорил о рассказе.

Восхищение не помешало ему указать на недостатки, причем замечания его относились подчас к отдельному слову.

«Что такое труд писателя?» — спросил он, и я впервые услышал очень странные вещи. Оказывается, труд писателя — это именно труд, то есть ежедневное, может быть, ежечасное писание — на бумаге или в уме. Это горы черновиков, десятки зачеркнутых вариантов. Это терпение, потому что талант обрекает писателя на особенную жизнь, и в этой жизни главное — терпение. Это жизнь Золя, который привязывал себя к креслу; Гончарова, который писал «Обрыв» около двадцати лет; Джека Лондона, который умер от усталости, как бы ее ни называли врачи. Это жизнь тяжелая и самоотверженная, полная испытаний и разочарований. «Не верьте тем, — сказал Горький, — кто утверждает, что это легкий хлеб».

Я слушал с изумлением. Все кажется легким в юности, особенно когда получаешь премию за рассказ, написанный в несколько дней. Но в словах Алексея Максимовича я почувствовал всю глубину его труженичества, всю святость его отношения к литературе. И, боже мой, как захотелось мне отдать этому мучительному труду все силы ума и сердца!

2

Пора было прощаться, и хотя мы расставались ненадолго — условлена была новая встреча, — каждому из нас Горький на прощание говорил несколько ласковых, ободряющих слов.

Я стоял в стороне, усталый от волнений и рас-

строенный, — вероятно, тем, что мне не удалось доказать Алексею Максимовичу, что я пишу лучше всех и вообще умнее всех на свете. И вдруг я услышал, как он хвалит одного из молодых писателей за мой рассказ «Одиннадцатая аксиома». За мой рассказ! Это было непостижимо!

— Озорной вы человек, — с удовольствием сказал он. — И фантазия у вас озорная, затейливая. Но хорошо, хорошо!

— Алексей Максимович, это не мой рассказ. Вот человек, который его написал.

Добродушно улыбаясь, Алексей Максимович обернулся ко мне. Это была минута, когда я должен был рассказать ему о моих надеждах и сомнениях, спросить о том, на что только он один мог ответить. Но я поспешно сунулся вперед, очень близко к Алексею Максимовичу и сказал неестественно громко:

— Да, этот рассказ мой!

До сих пор с чувством позора вспоминаю я неловкую паузу, наступившую в это мгновение. Алексей Максимович омрачился. Он хотел еще что-то сказать, но передумал и вдруг, отвернувшись от меня, заговорил с кем-то другим. Дико улыбаясь, я отошел и снова уселся на тахту, что было уже совершенно бессмысленно, потому что все простились с Алексеем Максимовичем и одевались в передней.

...Я очнулся — в буквальном смысле слова, — когда услышал голос Горького, обращенный ко мне. Понял ли он, что творилось в моей душе, или просто хотел показать, что не придает моей застенчивости никакого значения? Не знаю. Но он так ласково, с таким вниманием заговорил со мной — как я живу, где учусь и т. д., — что я мгновенно ожил и нашел

в себе достаточно силы, чтобы спокойно ответить на его вопросы.

Мы вышли на Кронверкский — семь молодых людей, бесконечно далеких друг от друга по биографиям и характерам, наклонностям и вкусам. Но, как семь братьев Пушкинской сказки, мы любили одну царевну — русскую литературу и ради этой любви отправлялись в далекий, трудный путь. Мы шли по Кронверкскому, потом по Троицкому мосту. Была та мокрая, арктическая погода, по которой ленинградцы безошибочно определяют приближение весны. На Неве уже чернели полыньи, над мутной водой низко носились чайки.

3

Нарисовать картину писательского труда во всем его многообразии — сложная задача. Может быть, мне удастся приблизиться к ее решению, ответив на многочисленные письма по поводу моего романа «Два капитана» и рассказав тем самым историю хотя бы одной книги с начала до конца.

Вопросы, которые задают мои корреспонденты, касаются главным образом двух главных героев моего романа — Сани Григорьева и капитана Татаринова. Многие спрашивают, не рассказал ли я в «Двух капитанах» собственную жизнь. Другие интересуются: выдумал ли я историю капитана Татаринова? Третьи разыскивают эту фамилию в географических книгах, в энциклопедических словарях — и недоумевают, убеждаясь в том, что деятельность капитана Татаринова не оставила заметных следов в истории завоевания Арктики. Четвертые хотят

узнать, где в данное время живут Саня Григорьев и Катя Татаринова и какое воинское звание присвоено Сане после войны. Пятые советуются с автором, какому делу посвятить свою жизнь. Мать самого озорного в городе мальчика, шутки которого граничили порой с хулиганством, написала мне, что после чтения моего романа ее сын совершенно переменился, а вскоре я получил и от самого Шуры Рокотова письмо, по которому было видно, что этот озорник умен и талантлив. С тех пор прошло несколько лет, и студент авиаинститута Рокотов стал прекрасным знатоком самолетостроения.

Я писал роман около пяти лет. Когда первый том был закончен, началась война, и лишь в начале сорок четвертого года мне удалось вернуться к своей работе. Первая мысль о романе возникла в 1937 году, когда я встретился с человеком, который под именем Сани Григорьева выведен в «Двух капитанах». Этот человек рассказал мне свою жизнь — полную труда, вдохновения и любви к своей Родине и своему делу.

С первых страниц я взял за правило не выдумывать ничего или почти ничего. И действительно, даже столь необычайные подробности, как немота маленького Сани, не выдуманы мною. Его мать и отец, сестра и товарищи написаны именно такими, какими они впервые предстали передо мной в рассказе моего случайного знакомого, впоследствии ставшего моим другом. О некоторых героях будущей книги я узнал от него очень мало; например, Кораблев был нарисован в этом рассказе лишь двумя-тремя чертами: острый, внимательный взгляд, неизменно заставлявший школьников говорить прав-

ду, усы, трость и способность засиживаться над книгой до глубокой ночи. Все остальное должно было дорисовать воображение автора, стремившегося написать фигуру советского педагога.

В сущности, история, которую я услышал, была очень проста. Это была история мальчика, у которого было трудное детство и которого воспитало советское общество — люди, ставшие для него родными и поддерживавшие мечту, с ранних лет загоревшуюся в его пылком и справедливом сердце.

Почти все обстоятельства жизни этого мальчика, потом юноши и взрослого человека сохранены в «Двух капитанах». Но детство его проходило на средней Волге, школьные годы в Ташкенте — места, которые я знаю сравнительно плохо. Поэтому я перенес место действия в свой родной городок, назвав его Энском. Недаром же мои земляки легко разгадывают подлинное название города, в котором родился и вырос Саня Григорьев! Мои школьные годы (последние классы) протекли в Москве, и нарисовать в своей книге московскую школу начала двадцатых годов я мог с большей верностью, чем ташкентскую, которую не имел возможности написать с натуры.

Здесь, кстати, уместно будет вспомнить еще об одном вопросе, который задают мне мои корреспонденты: в какой мере автобиографичен роман «Два капитана». В значительной мере все, что видел с первой до последней страницы Саня Григорьев, — видел собственными глазами автор, жизнь которого шла параллельно жизни героя. Но когда в сюжет книги вошла профессия Сани Григорьева, мне пришлось оставить «личные» материалы и приняться за изуче-

ние жизни летчика, о которой я прежде знал очень мало. Вот почему легко понять мою гордость, когда с борта самолета, направлявшегося в 1940 году под командованием Черевичного на исследование высоких широт, я получил радиограмму, в которой штурман Аккуратов от имени команды приветствовал мой роман.

Должен заметить, что огромную, неоценимую помощь в изучении летного дела оказал мне старший лейтенант С. Я. Клебанов, погибший смертью героя в 1943 году. Это был талантливый летчик, самоотверженный офицер и прекрасный, чистый человек. Я гордился его дружбой. Работая над вторым томом, я наткнулся (среди материалов Комиссии по изучению Отечественной войны) на отзывы однополчан С. Я. Клебанова и убедился в том, что мое высокое мнение о нем разделялось его товарищами по боевым делам.

4

Трудно или даже невозможно с исчерпывающей полнотой ответить на вопрос, как создается та или другая фигура героя литературного произведения, в особенности если рассказ ведется от первого лица. Помимо тех наблюдений, воспоминаний, впечатлений, о которых я написал, в мою книгу вошли тысячи других, которые не относились непосредственно к истории, рассказанной мне и послужившей основой для «Двух капитанов». Известно, какую огромную роль в работе писателя играет воображение. Именно о нем-то и нужно сказать прежде всего, переходя к истории моего второго главного героя капитана Татаринова.

Не ищите этого имени в энциклопедических словарях! Не старайтесь доказывать, как это сделал один школьник на уроке географии, что Северную Землю открыл Татаринов, а не Вилькицкий. Для моего «старшего капитана» я воспользовался историей двух отважных завоевателей Крайнего Севера. У одного я взял мужественный и ясный характер, чистоту мысли, ясность цели — все, что обличает человека большой души. Это был Седов. У другого — фактическую историю его путешествия. Это был Брусилов. Дрейф моей «Святой Марии» совершенно точно повторяет дрейф брусиловской «Святой Анны». Дневник штурмана Климова, приведенный в моем романе, полностью основан на дневнике штурмана «Святой Анны» Альбанова — одного из двух, оставшихся в живых участников этой трагической экспедиции. Однако только исторические материалы показались мне недостаточными. Я знал, что в Ленинграде живет художник и писатель Николай Васильевич Пинегин, друг Седова, один из тех, кто после его гибели привел шхуну «Святой Фока» на Большую Землю. Мы встретились, и Пинегин не только рассказал мне много нового о Седове, не только с необычайной отчетливостью нарисовал его облик, но объяснил трагедию его жизни — жизни великого исследователя и путешественника, который был не признан и оклеветан реакционными слоями общества царской России. Кстати сказать, во время одной из наших встреч Пинегин меня угостил консервами, которые в 1914 году подобрал на мысе Флора, и, к моему изумлению, консервы оказались превосходными. Упоминаю об этой мелочи по той причине, что она характерна для Пинегина и для того круга инте-

ресов, в котором я оказался, посещая этот «полярный дом».

Впоследствии, когда первый том был уже закончен, много интересного сообщила мне вдова Седова.

5

Летом 1941 года я усиленно работал над вторым томом, в котором мне хотелось широко использовать историю знаменитого летчика Леваневского. План был уже окончательно обдуман, материалы изучены, первые главы написаны. Известный ученый-полярник Визе одобрил содержание будущих «арктических» глав и рассказал мне много интересного о работе поисковых партий. Но началась война, и мне пришлось надолго оставить самую мысль об окончании романа. Я писал фронтовые корреспонденции, военные очерки, рассказы. Однако, должно быть, надежда на возвращение к «Двум капитанам» не совсем покинула меня, иначе я не обратился бы к редактору «Известий» с просьбой отправить меня на Северный флот. Именно там, среди летчиков и подводников Северного флота, я понял, что облик героев моей книги будет расплывчат, неясен, если я не расскажу о том, как они вместе со всем советским народом перенесли тяжелые испытания войны и победили.

По книгам, по рассказам, по личным впечатлениям я знал, что представляла собой в мирное время жизнь тех, кто, не жалея сил, самоотверженно трудился над превращением Крайнего Севера в веселый, гостеприимный край — открывал его неисчислимые богатства за Полярным кругом, строил горо-

да, пристани, шахты, заводы. Теперь, во время войны, я увидел, как вся эта могучая энергия была брошена на защиту родных мест, как мирные завоеватели Севера стали неукротимыми защитниками своих завоеваний. Мне могут возразить, что в каждом уголке нашей страны произошло то же самое. Конечно, да, но суровая обстановка Крайнего Севера придала этому повороту особенный, глубоко выразительный характер.

6

Не думаю, что мне удалось ответить на все вопросы моих корреспондентов. Кто послужил прообразом Николая Антоновича? Откуда я взял Нину Капитоновну? В какой мере правдиво рассказана история любви Сани и Кати?

Чтобы ответить на эти вопросы, мне следовало бы хоть приблизительно взвесить, в какой мере в создании той или другой фигуры участвовала реальная жизнь. Но по отношению к Николаю Антоновичу, например, взвешивать ничего не придется: лишь некоторые черты его внешности изменены в моем портрете, изображающем совершенно точно директора той московской школы, которую я окончил в 1919 году. Это относится и к Нине Капитоновне, которую еще недавно можно было встретить на Сивцевом Вражке, в той же зеленой безрукавке и с той же кошелкой в руке. Что касается любви Сани и Кати, то мне был рассказан лишь юношеский период этой истории. Воспользовавшись правом романиста, я сделал из этого рассказа свои выводы — естественные, как мне казалось, для героев моей книги. Кстати сказать, один школьник сообщил мне,

что с ним произошла совершенно такая же история — он влюбился в одну девочку и поцеловал ее на школьном дворе. «Так что теперь, когда книга «Два капитана» закончена, вы можете написать обо мне, — писал этот школьник, — я вам подробно сообщу, как это случилось, так что вы можете теперь создать новый роман».

Но вот другой случай, который хотя и косвенным образом, но все же отвечает на вопрос, правдива ли история любви Сани и Кати? Однажды я получил письмо из Орджоникидзе. «Прочтя ваш роман,—писала мне некая Ирина Н. — я убедилась в том, что вы тот человек, которого я разыскиваю вот уже восемнадцать лет. В этом меня убеждает не только упомянутые в романе подробности моей жизни, которые могли быть известны только вам, но места и даже даты наших встреч — на Триумфальной площади, у Большого театра...» Я ответил, что никогда не встречался с моей корреспонденткой ни в Триумфальном сквере, ни у Большого театра и что мне остается только навести справки у того полярного летчика, который послужил прообразом для моего героя. Началась война, и эта странная переписка оборвалась.

Еще один случай вспомнился мне в связи с письмом Ирины Н., которая невольно поставила знак равенства между литературой и жизнью. Во время ленинградской блокады, в суровые, навсегда памятные дни поздней осени 1941 года, Ленинградский радиокомитет обратился ко мне с просьбой выступить от имени Сани Григорьева с обращением к комсомольцам Балтики. Я возразил, что, хотя в лице Сани Григорьева выведен определенный человек, летчик-бомбардировщик, действовавший в то время на

центральном фронте, тем не менее это все-таки литературный герой.

— Ну, что ж, — был ответ. — Это ничему не мешает. Пишите так, как будто фамилию вашего литературного героя можно найти в телефонной книжке.

Разумеется, я согласился. От имени Сани Григорьева я написал обращение к комсомольцам Ленинграда и Балтики, и в ответ на имя «литературного героя» посыпались письма, дышавшие уверенностью в победе.

7

Я помню себя девятилетним мальчиком, вошедшим в первую в моей жизни маленькую, но казавшуюся в те годы очень большой библиотеку. За высоким барьером, под керосиновой лампой-«молнией» стояла гладко причесанная женщина в очках, в черном платье с белым воротничком. Барьер был так высок — по крайней мере для меня, — а дама в белом воротничке показалась мне такой неприступно строгой, что я с трудом заставил себя остаться. Слишком громким от стеснения голосом я сообщил, что мне уже девять лет и, следовательно, я имею право записаться в библиотеку. Строгая дама засмеялась и, наклонившись через барьер, чтобы разглядеть нового читателя, возразила, что ей еще не случалось слышать о подобном праве.

В конце концов мне все-таки удалось записаться в библиотеку, и за чтением время прошло так быстро, что однажды я обнаружил с удивлением, что барьер вовсе не так высок, а дама не так строга, как это мне показалось с первого взгляда. Что касается

барьера, то я вскоре сравнялся с ним, а потом перерос.

Это была первая библиотека, в которой я почувствовал себя как дома, и с тех пор это чувство неизменно возникает, когда я вхожу в дом — большой или маленький, в котором вдоль стен тянутся книжные полки, а подле них стоят люди, думающие только об одном: чтобы эти книги читались. Так было в детстве. Так было и в юности, когда долгие часы были проведены в огромной библиотеке имени Щедрина в Ленинграде. Работая в архивном отделе, я проникал в самое сердце этого храма из храмов. Поднимая глаза — усталые, потому что от чтения рукописей глаза устают очень быстро, — я следил за бесшумной работой библиотекарей и хранителей, к которым снова и снова испытывал благодарное чувство. Так и осталось на всю жизнь. Куда бы я ни приезжал, куда бы меня ни забросила судьба, везде я прежде всего спрашивал: а есть ли здесь библиотека? И когда мне отвечали: да, есть, — этот город или городок, колхоз или кишлак становился ближе, как бы озаряясь теплым, неожиданным светом.

В пьесе Шварца «Снежная королева» тайный советник, мрачный человек, торгующий льдом, спрашивает сказочника, есть ли в доме дети, и, когда узнает, что есть, содрогается, потому что при звуках детского голоса лед самой черной души начинает таять. Точно так же дом, в котором есть книги, отличается от тех домов, где их нет.

Лучших писателей можно смело сравнить с разведчиками будущего, с теми отважными завоевателями новых, неизвестных пространств, о которых писал знаменитый норвежский путешественник

Фритьоф Нансен: «Последуем за узкими следами полозьев, за маленькими черными точками, прокладывающими как бы рельсовый путь в самое сердце неведомого. Ветер воет и мчится через эти ведущие по снежной пустыне следы. Скоро они исчезнут, но путь проложен, мы приобрели новые знания, и подвиг этот будет сиять во веки веков».





из книги

„НЕИЗВЕСТНЫЙ ДРУГ“



Дважды два



Маруся Высоцкая, верный кандидат на золотую медаль, была приглашена, чтобы пройти со мной арифметику — весной я должен был держать экзамен в гимназию. Вскоре Маруся вышла замуж за моего старшего брата, только что окончившего ту же гимназию и поступившего в Петербургский университет. Но когда Маруся занималась со мной, они еще не были женаты, и именно это обстоятельство

послужило причиной моих первых жизненных бедствий.

Она приходила сдержанная, гладко причесанная, в белой только что отглаженной кофточке, и мне казалось, что все вокруг становилось таким же чисто вымытым, даже слегка накрахмаленным, во всяком случае совершенно другим. Наскоро отметив крестиком несколько задач, она скрывалась в комнате брата, и я долго не мог понять, о чем они говорят негромкими взволнованными голосами, как будто ссорясь и сердясь друг на друга.

Очень скучный, расстроенный, я сидел над задачей, и мысль уносилась бог весть куда — в те далекие края, где никто не занимался арифметикой и таблица умножения была никому не нужна. Мне было немного стыдно за Марусю, которая — я это знал — вернется и с виноватым видом станет торопливо проверять мою работу. Потом я возвращался к задаче, и, если в ней говорилось о купцах, отмерявших сукно какими-то локтями, мне представлялись эти купцы — толстые, с румяными скулами, угодливые и наглые, торговавшие в суконных рядах. Если в задаче говорилось о бассейне с трубами, мне представлялся этот бассейн за стеклянной стеной, по которой скользили молчаливые тени. Слышался плеск и такие же, как из комнаты брата, тихие, таинственные, по временам умолкавшие голоса.

Все это кончилось тем, что я провалился. Но несправедливо винить в этом Марусю, тем более что она волновалась гораздо больше, чем я, и по дороге в гимназию насильно заставила меня съесть три трубочки с кремом, которые я с тех пор навсегда разлюбил.

Когда учитель Овчинников, лысый, маленький, с гладкой красной шишкой на темени, на которую почему-то все время хотелось смотреть, написал очень легкий пример на доске, я энергично принялся за дело и решил его в десять минут. Ответ получался странный, с дробью, а между тем дроби — это я твердо знал — не проходили в приготовительном классе. Но так как невозможно было представить себе, что я неправильно решил этот пример, я не стал проверять его и, немного подумав, принялся за другой. Но сосед, мальчик с большой курчавой головой, взглянул на мою письменную и отрицательно покачал головой. Я подумал еще немного, а потом встал и сказал не очень громко, но так, чтобы это услышали все:

— Михаил Иваныч, у меня не выходит.

— Ничего, еще есть время, — ответил он. — Подумай.

Я сел и послушно стал думать. Но думал я уже о том, что до конца экзамена осталось только двадцать минут, потом пятнадцать, десять. Ожидание неслыханного события переполняло меня. Это было так, как будто не я, а кто-то другой с лихорадочной быстротой решает пример, а я с нетерпением жду, когда же, наконец, станет ясно, что он его не решил.

Опять получилась дробь, на этот раз какая-то невероятная — периодическая, как я узнал позднее. Я снова поднялся и на этот раз уже не сказал, а оглушительно заорал, так что весь класс вздрогнул и с изумлением посмотрел на меня:

— Михаил Иваныч, у меня не выходит!

Не знаю почему, но я был уверен, что Михаил Иванович сейчас подойдет ко мне и пример не

только будет решен, но это произойдет незаметно для всего класса, а может быть, и для меня самого.

Но Михаил Иванович только пожал плечами.

— Ну что ж, давай сюда, если больше ничего не выходит.

Прозвенел звонок, и с необъяснимым, почти радостным возбуждением, как будто торопя ту минуту, когда станет окончательно ясно, что я провалился, я сунул свою работу в кучу других — Овчинников собирал их, проходя вдоль рядов, —и вышел в коридор, где меня ожидали взволнованная, с красными пятнами на щеках Маруся и всегда спокойная, с гордо откинутой назад головой, в пенсне моя мать.

— Решил?

Я сказал, что решил, но не совсем, и что, наверно, будет пятерка с минусом, потому что ответ немного не тот.

Маруся с виноватым видом посмотрела на мать.

— То есть как не тот? — спросила она.

— У Златина (это был мой сосед) без дроби, а у меня почему-то с дробью. Но вообще-то почти у всех с дробью.

Я уже врал, и мне почему-то становилось все веселее...

Нельзя сказать, что эта история кончилась так же благополучно, по крайней мере для меня. Не прошло и двух недель, как я снова засел за арифметику — на этот раз в надежде осенью выдержать в первый класс.

Маруся больше не занималась со мной; она была дочерью очень богатых родителей, и для меня так и осталось неясным, зачем ей были нужны эти уроки.



День рождения

Сестра Лиза приехала на весенние каникулы, в доме сразу стало шумно. Пришли гимназисты и офицеры, и начались споры — главным образом о каком-то лейтенанте Глане. Офицеры часто бывали у нас, особенно когда приезжали старшие, и

этот Глан тоже был офицером, но, очевидно, флотским, потому что в армии не было лейтенантов.

Никто не обращал на меня внимания, и это было обидно, тем более что в этот день мне исполнилось десять лет, а это ведь совсем не то, что восемь или девять! Правда, мы с сестрой долго ходили, обнявшись, в полутемной столовой, и было приятно, что она говорит со мной так серьезно. Она упрекала меня за то, что, когда офицеры и студенты разговаривали об артистке Любимовой, я вмешался и сказал: «В глазах — рай, в душе — ад». По ее мнению, у меня и глаза-то были совсем не такие, как у других детей в моем возрасте! С упавшим сердцем я долго рассматривал себя в зеркале. Да, сестра права. Но как поступить, чтобы не развиваться рано?

Потом она забыла обо мне и вспомнила, только когда ей нужно было послать секретку студенту, который в брюках со штрипками, положив ногу на ногу, ждал в Губернаторском саду на скамейке. Я отдал ему секретку, он вскочил, прочел и побледнел. Мне стало жаль его, и, вернувшись, я не очень-то вежливо потребовал пару пирожных, которые Лиза обещала, если я отнесу записку. Она купила, но не сразу, а сперва долго расспрашивала, что да почему, как он сидел да как вскочил. Это было противно.

Как поступить, чтобы меня заметили и вместе с тем чтобы не очень попало? Обо мне вспоминали только за столом или вечером, когда мама приходила, чтобы посмотреть, не подложила ли нянька что-нибудь мягкое на кровати. Мы с Пашкой спали на досках, едва прикрытых тощими сенниками, но не потому, что у нас не было денег на матрацы, а потому, что мама считала, что это полезно.

Можно было, конечно, стащить у отца наусники, в которых он спал, чтобы усы торчали вверх, как у Вильгельма Второго, или мамин валик, который она подкладывала в прическу. Но это было скучно и как-то не соответствовало моему серьезному настроению.

Весеннее утро с солнцем, огибающим дом, с пылинками в столбах света, лежавших поперек комнат, с бесцельным слонянием по комнатам, по двору переходило в полдень, а я все не мог найти себе дела. Жалко все-таки, что я провалился в приготовительный класс! Теперь вскоре нужно держать в первый, и я, может быть, опять провалюсь. Порешать, что ли, задачки? Я порешал, и все равно осталось еще много времени, медленно делившегося на часы, минуты, секунды. Чувство неприкаянности и прежде тяготило меня, а в этот день явилась еще и странная мысль, что, если бы меня вовсе не было, ничего бы не изменилось. Может быть, я нужен маме? Тогда почему она никогда не говорит мне об этом? Или няньке? Прежде я, несомненно, был нужен няньке. Но теперь я вырос, и, если бы меня не было, она бы просто стала готовить двумя котлетами меньше.

Может быть, я нужен царю? Наш сосед, отец Кюпар, сказал, что царю нужны все, вплоть до последнего человека. А когда я спросил, нужны ли ему также животные, например собаки, он рассердился и сказал, что сразу видно, в какой семье я расту.

Накануне я впервые прочитал «Ревизора», и больше всех мне понравилось то место, где Бобчинский просит сказать царю, что в таком-то городе живет Петр Иванович Бобчинский. На его месте я поступил бы так же.

Я не стал готовиться к побегу, потому что мне всегда казалось, что это почти одно и то же — сделать что-нибудь в уме или на самом деле. В уме я подготовился: запасся сухарями, стащил у старшего брата широкий резиновый пояс с кармашками, который он все равно не носил, и переделал отцовскую шпагу в кинжал. Зато прощальную записку я оставил самую настоящую, чтобы ее заметили все. На большом листе бумаги я написал аршинными буквами: «Прошу в моей смерти никого не винить», — и прикрепил этот лист к печке в столовой. Потом простился с Престой, стащив для нее кусок сахару, и ушел.



...Знакомые улицы, по которым я тысячу раз ходил, знакомые лавки, знакомый усатый сапожник на углу Андреевской. Новое реальное училище, пожарная команда...

У пожарной команды мне встретился Валька Мордкин из первого «Б», и мы немного поговорили. Я его не любил. Он важничал, что у него старший брат танцует в балете. А мне казалось, что мужчине, да еще взрос-



лому, стыдно танцевать, да еще на сцене, где все его видят.

...Пристав проехал в пролетке, изогнувшись, выставив грудь, покручивая усы, и вдруг отдал честь даме в шляпе со страусовым пером. И она пошла потом так, что даже по ее спине было видно, что ей поклонился этот красивый пристав.

Городская тюрьма — большое грязно-серое здание за высоким забором. У ворот — полосатая будка. Усатый часовой в бескозырке выглянул из нее и сказал барышне, стоявшей на панели: «Проходите, сударыня». Но она не ушла. О начальнике этой тюрьмы в городе говорили, что на пасху он заставляет

арестантов ходить вокруг него, бренча кандалами, а потом христосуется и дарит каждому крашеное яичко.

По Георгиевскому бульвару я прежде доходил только до Плескачевских — это был дом предводителя дворянства, державшего даже своих лошадей. У дворянства был свой предводитель, как у дикарей в романах Густава Эмара. Недалеко от Плескачевских прошлой зимой революционеры убили жандармского полковника, и все ходили смотреть это место и говорили, что снег еще красный от крови. Я тоже ходил, но опоздал из-за Пашки, который доказывал, что этот снег не будут убирать, пока из Петербурга не приедет председатель совета министров. Сейчас я тоже посмотрел на это место, но оно уже стало совершенно такое же, как другие, и нельзя было подумать, что тут кого-то убили.

Казармы Александровского полка. В Александровском — капельмейстер Фидлер, толстый, с рыжими усами. Немец, а всех детей назвал славянскими именами: Святослав, Изяслав, Рюрик. За казармами начиналась большая безыменная грязная площадь; по одной дорожке шли на вокзал, а по другой, наискосок, на Холмы — так называлось предместье, в котором тоже была тюрьма, но другая, политическая.

Мне было страшновато, и я заложил руки в карманы и посвистывал, чтобы показать, что я не боюсь. В городе я шел улыбаясь — мне казалось, что нужно улыбаться даже незнакомым, потому что они ведь ничем, в сущности, не отличаются от знакомых. Сегодня они незнакомые, а завтра могут познакомиться. Но пока будущие знакомые смотрели на меня как-

то странно, а один даже сочувственно покачал головой, так что вскоре я перестал улыбаться.

Мужики везли дрова по шоссе, немазаные колеса скрипели. Солдатская фура проехала, кучер-солдат подхлестывал лошадей. Теперь было совершенно ясно, что я убежал из дому. Записку мою, конечно, прочли, и нянька небось подняла весь дом и побежала за мамой, которая в эти часы давала урок музыки барышням Фанерфлит. Но мама все-таки кончила урок, а уже потом пошла домой и, волнуясь, сняв пенсне, с жилкой, бьющейся на виске, читает мою записку. Мне стало так жаль себя, что я чуть не заплакал.

Редкий еловый лес начинался по левую сторону шоссе, и я решил немного посидеть и подумать, правильно ли я сделал, подготовившись к побегу в уме. Сухари, по-видимому, нужно было взять с собой не только в уме. Было уже время обеда, и я попробовал пообедать в уме. Но из этого ничего не вышло, хотя было невозможно более отчетливо увидеть, как я ем суп с большим, густо посоленным куском хлеба.

За лесом, в стороне от шоссе стоял дом, самый обыкновенный, но к окнам почему-то были прибиты под углом узкие деревянные ящики без крышек — как будто нарочно, чтобы люди могли смотреть только вверх, на небо. Я пососал маленькую горькую шишечку, потом вытряхнул из карманов на ладонь хлебные крошки. Да, дома сейчас обедают. Пашка, положив перед собой книгу, жрет щи и не думает о втором, которое он сейчас получит.

Одинокое дерево росло близко от высокого прочного забора, которым был обнесен дом, и на этом

дереве я увидел множество Назарбаевых и Акбулатовых. Среди них были гимназисты, реалисты, один коммерсант — в Энске недавно открыли коммерческое училище, — и все они были сыновья и племянники старого Акбулатова, который ходил почему-то в мундире, хотя все знали, что он держит буфет на Энском вокзале. С Хакимом Назарбаевым мы вместе провалились в приготовительный класс. Он кивнул, увидев меня, и молча поманил пальцем. Я подошел. Они сидели на дереве, негромко, взволнованно переговариваясь по-татарски.

— Эх ты, опоздал! — с укором сказал мне Хаким. — Лезь. Ну, давай руку.

Посередине небольшого мощеного двора стоял помост вроде того, на котором отец в Летнем саду дирижировал своей музыкантской командой. Но на этом помосте почему-то были сооружены ворота, а на поперечной доске неподвижно висел мешок, из которого торчали прямые вытянувшиеся ноги. Это был человек, и его повесили совсем недавно, может быть минуту назад, потому что палач в мешковатом новом пиджаке и блестящих высоких сапогах еще не сошел с помоста.

Я хотел закричать, но один из Акбулатовых сердито шепнул: «Молчи». Военные и чиновники стояли у помоста и смотрели на повешенного. Среди них я с ужасом узнал доктора Яропольского, того самого, который лечил меня вином «Друг желудка», и знакомого чиновника из канцелярии губернатора, и отца Кюпара в красивой шелковой рясе. Они разговаривали как ни в чем не бывало, а потом не спеша пошли в дом.

Акбулатовы силой стащили меня с дерева, я вце-

пился и не хотел слезать, хотя смотреть было уже не на что.

— Эх ты, слабый, бледный совсем, — укоризненно сказал Хаким.

Они все жили возле вокзала, и я пошел с ними, совершенно забыв о том, что убежал из дому.

Я не думал об этом повешенном, хотя он как бы застыл в уме каким-то неподвижным страшным видением. Наверное, это был революционер, застреливший жандармского полковника. Тогда говорили, что его сестра, гимназистка, ночью бежала через весь город и чуть не сошла с ума, добиваясь, чтобы ее пустили к брату. Кто такие революционеры и почему о них говорят шепотом, с особенным выражением? Хаким сказал: «Доктор пришел, чтобы подтвердить, что он умер». Доктор, который лечит людей. Завтра, если я заболею, он придет к нам и будет смешно сердиться, что ему подают слабый чай, и мама, смеясь, нальет ему крепкий-прекрепкий.

Я вернулся домой только вечером. Есть уже не хотелось, но я заставил себя сесть за стол. Моя записка висела на прежнем месте. Никто не заметил, что я убежал из дому, даже нянька, может быть потому, что ее кучер в этот день приходил к ней и грозился убить. Пашка сыпал соль в банку с водой, из которой торчала ржавая проволока, — он считал, что таким образом можно вырастить искусственный кристаллический сад. Мама пришла усталая, и я слышал, как она сказала няньке: «Ох, не могу».

Я разделся, лег и постарался уснуть. Мешок, конечно, надевают, чтобы не видеть лица. А что там делал отец Кюпар с крестом на цепочке, в шелковой рясе, которую он носил только по праздникам? На

маленьком мощеном дворике он стоял рядом с этим толстяком из канцелярии губернатора, а потом они пошли домой не спеша.

Студенты громко спорили в комнате старшего брата. Отец ворчал, ему мешали уснуть. Нянька ворочала ухватами, пекла хлеб на кухне. Почему у нас пекут всегда вечером или даже ночью?

...Я проснулся от крика. Это кричал я, стоя на постели и стараясь уйти в стену, о которую бился головой. Нянька брызгала на меня святой водой из бутылочки и говорила:

— От сглазу.



На даче

С утра до вечера мы торчали на Песчинке, забегая домой, только чтобы поесть. Это была прекрасная, ленивая жизнь, больше в воде, чем на суше, и Пашка, например, ленился надевать даже рубашку

и шел по городу в куртке, надетой на голое тело, рискуя напороться на Емоцию и заработать шесть часов в воскресенье. Емоция был инспектор гимназии, преподававший психологию и говоривший не «эмоция», а «емоция».

И эта дивная жизнь вдруг кончилась, потому что мама сняла дачу. Мы редко снимали дачу, потому что у нас было мало денег, но в этом году она, повидимому, решила, что неудобно остаться на лето в городе, в то время как все приличные люди снимают дачи. Сама она с нами жить не могла, отец — тоже, и на дачу поехала бабка, о которой мама говорила, что она была в молодости поразительная красавица. Потом я заметил, что про старух всегда говорят, что в молодости они были красавицы.

Мы сняли большой дом, старый, разваливающийся и, наверное, очень дешевый. Не знаю почему, но назывался он «Ноев ковчег». По ночам он шатался, скрипел, даже как-то выл, половицы пели на разные голоса, ставни хлопали. Но я не боялся и даже жалел его, точно он был живой.

В общем в Черняковицах было скучновато, речка маленькая, и купаться неинтересно, куда хуже, чем в городе, где гимназисты прыгали с мола и плыли навстречу волнам, когда проходили пароходы Трахтенбауэра.

Правда, в Черняковицах был дом сумасшедших. Иногда их водили на станцию, и мы с Пашкой познакомились с одним бородатым, который сказал, что он король инков Монтезума и пригласил нас к обеду, похваставшись поваром, который прекрасно жарит картошку на керосине.

— Вот этой трубке пять тысяч лет, — сказал он. — Из нее курил сам Юлий Цезарь.

Я боялся сумасшедших, а Пашка хвастался, что ему интересно, он их изучает.

Словом, в Черняковицах была тоска. Но вот приехали старшие, и все изменилось. Старшие были Глеб, только что окончивший гимназию, и Лиза, с четырнадцати лет учившаяся в Петербургской консерватории. Она играла на виолончели, и ей высылали по двадцать пять рублей в месяц. Это было трудно, но ничего нельзя было сделать, потому что у нее был бархатный тон и считалось, что она кончит консерваторию с серебряной медалью. С золотой должна была кончить какая-то хромая, которая играла гораздо хуже сестры, но зато ей покровительствовал сам граф Шереметьев.

В общем со старшими всегда была возня, особенно с братом. Он был эгоист — на этом сходились решительно все, и даже он сам, хотя и с трудом:

— Допустим. И что же?

Он много читал, выписывал «Ниву» с приложениями, и в его комнате стоял шкаф с классиками, которых он давал нам читать, а потом донимал за то, что мы не ставим книги на место. Он утверждал, что одни книги нам можно читать, а другие — рано. Это было смешно, потому что украдкой я уже прочел всего Чехова. Зато когда Глеб уехал, я как будто нечаянно разбил стекло в этом шкафу и за зиму прочел все книги, слева направо. О лейтенанте Глане, оказывается, написал Кнут Гамсун. Лейтенант действительно не служил в Томском полку и вообще нигде не служил, а носил цилиндр и, как мы с Пашкой решили, бил баклуши.

Ко всему, что делали и о чем говорили старшие, присоединялось нечто значительное. И наше существование казалось мне низменным, вроде существования Престы. Мы просто жили, то есть спали, ели, ходили в гимназию, радуясь, когда кто-нибудь из учителей заболевал, и так далее. А у старших все было таинственным, сложным.

Мы нашли прекрасное место для купания, единственное, где можно было плавать. В других местах речка была мне по грудь, а Пашка говорил, что плавать не научишься до тех пор, пока будешь чувство-



вать под ногами дно. Он считал, что в основе плавания лежит страх и что, следовательно, там, где нельзя утонуть, нельзя и научиться плавать.

Мы походили на это место дня два, а потом нас вышибли аристократы из имения Горское. Возможно, что это были и не аристократы, но кто же еще мог

ходить с теннисной ракеткой, в кремовых брюках и говорить так свободно, вежливо, вставляя иностранные слова в русскую речь?

С нами они поговорили не очень вежливо. Но нам было наплевать, потому что Федька Страхов показал местечко не хуже, только с илистым дном.



К старшим приехали товарищи Глеба. Теперь они были уже не гимназисты, но абитуриенты, почти студенты, и ходили веселые, смелые, в измятых, без гербов фуражках на затылке. Еще бы! Они больше не боялись учителей, могли сколько угодно ходить в оперетку. Емоция для них просто не существовал, а на выпускном вечере Август Краулинь не подал директору руку. Вообразить это было почти невозможно!

Бабка была в ужасе, что они приехали, — абитуриенты гуляли до рассвета и пели запрещенные песни. Кроме того, она была скупая, а теперь ей все время приходилось притворяться, что она не скупая. Это было трудно, но у нее не было выхода, потому что иначе Глеб просто оторвал бы ей голову.

Он собирался жениться на Марусе Высоцкой, она приехала с подругой, и теперь, кроме покряхтывания и скрипа половиц, до меня доносились по вечерам тихие голоса, смех и таинственный шепот.

Конечно, старшие сразу же наткнулись на это прекрасное место для купания, и аристократам не

удалось так легко вышибить их оттуда, как нас с Пашкой. Они было попробовали, но Лиза подняла крик, и тогда они стали как бы не замечать наших, то есть показывать, что они их презирают. Так продолжалось дня три, а потом к нам пришел вежливый усатый городовой и сообщил бабке, что накануне на станции был составлен протокол, поскольку один из молодых людей нанес оскорбление другому. Городовой доложил об этом именно бабке, точно она была приставом, и она страшно разахалась и дала ему пятиалтынный. Это была взятка, чтобы он положил протокол «под сукно», потому что Глеб был замешан в этой истории. Потом городовой приходил еще раза три, и бабка каждый раз давала ему то гривенник, то пятиалтынный, так что общая сумма дошла почти до рубля.

Потом все уехали — барышни и абитуриенты, — и Глеб, конечно от скуки, решил пойти с нами купаться. Мы шли, разговаривая, и вдруг на дорожке показались аристократы. Их было много, человек семь, впереди — невысоконький, беленький, ворот рубашки расстегнут, на одной ноге, должно быть подвернутой, — мягкая домашняя туфля и в правой руке лакированный стек.

Пашка потом говорил, что с точки зрения чистого разума нужно было дать стрекача. Но Глеб сказал спокойно: «Вас-то мне и надо», — и остановил компанию, в сущности, один, поскольку мы почти не могли ему помочь, разве что кусаться. Невысоконький дерзко ответил, брат — тоже.

— Скажите, пожалуйста, какое вы имеете право...

Они двинулись друг на друга, и мне стало страшно, что он ударит брата хлыстом. Но он не решился.

Они снова быстро заговорили, и можно было понять, что кто-то из Горского на станции оскорбил Краулиня.

— А вот это я вам еще докажу, — сказал Глеб, и вся компания обошла его и молча двинулась дальше.

...Мне очень понравилось, как он сказал: «Вас-то мне и надо», и, лежа на песке, я думал об этом. Да, наши были одно, а эти молодые люди из Горского — совершенно другое. Трудно было, например, вообразить Августа Краулиня в кремовых брюках, так же как никто из них никогда не надел бы вытертые, с бахромой, в пятнах штаны Августа, над которыми все смеялись — и он первый, показывая белые зубы. Может быть, этот беленький со стеком — барин или граф? Или то и другое? Я видел в «Огоньке» фотографию: «Князь Юсупов, граф Сумароков-Эльстон» — и тоже в отглаженных белых брюках, с теннисной ракеткой в руке, смеющийся, красивый.

Мы полезли в воду, и я немного поплавал у берега, стараясь не чувствовать под ногами дно. Это было трудно, потому что я его видел. День был солнечный. Я отплыл подальше и вдруг, повернув голову, понял, что я на середине реки. Теперь было уже все равно, возвращаться или плыть вперед — до правого и левого берега было одинаково далеко. Или, может быть, близко? Пашка крутился где-то поблизости и даже закричал: «Поплыл», — я впервые решился переплыть речку. Но на него было мало надежды, потому что еще сегодня он говорил, что, для того чтобы спасти утопающего, нужно его оглушить, ударив по голове веслом или камнем. Именно такой способ рекомендует Императорское общество спасе-

ния на водах. Это было хуже, чем утонуть, и я плыл, стараясь не думать о том, что мне становится все труднее двигать руками. Потом в середине груди остро закололо, так остро, что я с удовольствием совсем перестал бы дышать, если бы это было возможно. Я не перестал — и это была секунда, когда я как бы увидел перед собою Глеба: «Вас-то мне и надо».

Руки уже не били по воде, как прежде, и, хотя я их заставлял, могли только слабо махать. Но я решил, что все-таки доплыву: «Вас-то мне и надо». Я плыл, и больше всего на свете мне хотелось вопреки Пашкиным наставлениям почувствовать под ногами дно.

Я не утонул. А вышел и рухнул на песок. Мне было все равно, и я нисколько не гордился, что переплыл речку. Но мне захотелось — сам не знаю, засмеяться или заплакать? — когда приплыли Пашка и Федька Страхов и сказали, что я все-таки молодец.



Похвальный лист

Переходя во второй класс, я получил похвальный лист. Это была награда второй степени, но первая отличалась от нее только тем, что, кроме листа, давали «Князя Серебряного», которого я все равно давно уже прочитал. В этом году было трехсотлетие дома Романовых. На улицах жгли плошки со смолой, и похвальный лист был украшен сценами из истории этого дома. В одном углу красивый бородатый Минин обращался к народу, а рядом в панцире и шле-

ме стоял Пожарский, опершись о меч; в другом — молоденького, хорошенького Михаила Романова венчали на царство. Все цари были румяные, красивые, с добрыми лицами и все ездили умирать в какую-то «бозу»: почти под каждым портретом было написано «Почил в бозе» тогда-то.

С этим великолепным похвальным листом, свернутым в толстую трубку, я вернулся домой и на дворе немного побросал его в воздух, чтобы показать Борьке Курочкину и другим ребятам, что нисколько не дорожу наградой и что мне вообще на нее наплевать. Но я бросал осторожно.

Дома никого не было, только отец. Я развернул перед ним похвальный лист, и он сказал, что отвезет его в Петербург показать деду и бабке. Я снисходительно согласился. Вообще, хотя я как бы презирал награду второй степени, все-таки это было приятно, что я ее получил, тем более что по арифметике мне с трудом удалось вытянуть на четверку. Пятерок совсем не было. Но это не имело значения, поскольку для второй степени нужно было только не нахватать троек. Потом я показал похвальный лист няньке, и она всплакнула, но неизвестно, от умиления или потому, что в последнее время стала здорово выпивать. Потом я положил лист на окно и стал читать «Вокруг света». Но время от времени я посматривал на него.

Все-таки это было здорово, что я его получил и что он такой раскрашенный, с царями! Возможно, что, вернувшись из Петербурга, отец закажет для него рамку и он будет висеть между портретами родителей в столовой. На одном из этих портретов, несомненно, был изображен отец — стоило только посмотреть на его прекрасные черные усы и грудь,

украшенную медалями, а про другой отец говорил, что художник сжульничал, срисовав портрет императрицы Александры Федоровны и приделав к нему серьги в ушах и высокий кружевной воротничок, который носила мама.

Нянька принесла мне стакан козьего молока и кусок хлеба. Мать считала, что коровье молоко не так полезно, как козье, потому что в нем чего-то не хватает, и мы купили козу Машку.

...В Пушкинском театре будет детский бал, и девочки в коротеньких легких платьях, с большими бантами над распущенными волосами будут посматривать на меня с интересом, потому что все, понятно, узнают, что я перешел с наградой. Будет жарко и весело, оркестр будет греметь с балкона, и, может быть, как в прошлом году, я увижу Шурочку Вогау, и теперь я уже не буду стоять весь потный и красный и молчать, когда она вежливо заговорит со мной и когда, мелькая беленьким платьем и легко перебирая ножками, она будет весело танцевать с этим толстым кадетом. Я буду отвечать ей свободно и, когда с балкона загремит вальс, стану перед ней вот так, слегка склонив голову, и это будет означать: «Позвольте пригласить вас на вальс». Кадет тоже подойдет, но она откажет ему: «Извините, я занята». И я положу руку на ее талию и поведу ее ловко, никого не толкая, плечи назад, держа голову прямо, и только один разочек украдкой взгляну на ее тоненькие, быстро перебирающие ножки.

Пришел Пашка, я показал ему похвальный лист, но он только сказал равнодушно: «Ишь ты!» — и скрылся в своем чулане. Мама отвела ему чулан под лестницей, потому что его химией в доме стало не-

возможно дышать. У него было три двойки «в году» — по алгебре, геометрии и по-немецки. Но по-немецки неправильно, потому что он знал, а немка просто разозлилась, что он объяснился ей в любви. Он написал ей записку: «Их либе зих».

Я посмотрел на подоконник: похвального листа не было, хотя не прошло и пяти минут, как я показывал его Пашке. Окно было открыто — может быть, он скатился на землю? Я выбежал на двор — нет. Вернулся, спросил няньку, не взяла ли она, — нет. Еще раз внимательно посмотрел на подоконник — может быть, я его не вижу? Через четверть часа весь дом искал мой похвальный лист. Отца разбудили, он вышел заспанный, в брюках со штрипками, с растрепанными усами. Нянька ругалась.

Увы, мы нашли его у Машки, за сараем. Но его уже нельзя было взять в Петербург, потому что коза сжевала большинство царей, не пощадив даже «ныне благополучно царствующего», как было написано в учебнике русской истории. По-видимому, она завтракала с большим аппетитом, потому что возмущенно затрясла бородой и даже попыталась меня боднуть, когда я вытащил у нее изо рта венчание Михаила на царство. Правда, Минин и Пожарский остались, и при некотором упорстве можно было разобрать, что с наградой перешел именно я. Но подписи директора и классного наставника были съедены без остатка.

Отец, который был огорчен еще больше, чем я, сказал, что лучше не рассказывать об этой истории, потому что похвальный лист в честь дома Романовых съела коза, а это можно даже принять за оскорбительный намек по адресу царской фамилии.



Трус

Я не мог заставить себя спрыгнуть с мусорного ящика, и мама сказала, что я трус. Возможно, что это было действительно так. Входя в темную комнату, я кричал на всякий случай «дурак». Я боялся гусей, которые почему-то гонялись именно за мною, гогоча и низко вытягивая шеи. Еще больше я боялся петухов, в особенности после того, как один из них сел мне на голову и чуть не клюнул, как царя Додона. Я боялся, что кучера, приходившие с нянькиным Павлом, начнут ругаться, и, когда они действительно

начинали, мне, очевидно тоже от трусости, хотелось заплакать.

Правда, в Черняковицах я переплыл речку, но храбро ли я ее переплыл? Нет. Я так боялся утонуть, что потом целый день еле ворочал языком и совершенно не хвастался, что в общем было на меня не похоже. Значит, это была храбрость от трусости?

Странно, но тем не менее я, по-видимому, был способен чувствовать храбрость. Прочитав, например, о Муции Сцеволе, положившем руку на пылающий жертвенник, чтобы показать свое презрение к пыткам и смерти, я сунул в кипяток палец и продержал его пять-десять секунд. Но я все-таки испугался, потому что палец стал похож на рыбий пузырь, и нянька принялась кричать, что у меня огневица. Потом палец вылез из пузыря, красный, точно обиженный, и на нем долго, чуть не целый год, росла тоненькая, заворачивающаяся, как на березовой коре, розовая шкурка.

Словом, похоже было, что я все-таки трус. А «от трусости до подлости один шаг», как сказала мама. Она была строгая, в пенсне и однажды за обедом хлопнула Пашку суповой ложкой по лбу. Отца мы называли на «ты», а ее — на «вы». Она была сторонницей спартанского воспитания. Она считала, что мы должны спать на голых досках, рубить дрова и каждое утро обливаться до пояса холодной водой. Мы обливались. Но Пашка утверждал, что мать непоследовательна, потому что в Спарте еще и бросали новорожденных девочек с Терпейской скалы, а мама не только не сделала этого, а, наоборот, высылала Лизе двадцать пять рублей, чтобы она могла заниматься в Петербургской консерватории.

У нас был разговор после того, как она заметила, что я не мог спрыгнуть с мусорного ящика. Она посоветовала мне сознаться, что я струсил, потому что человек, который способен сознаться, впоследствии еще может стать храбрецом. Но я не сознался и сделал тот шаг, о котором сказала мама.

Интересно, что мне ужасно не нравилась мысль, что я трус, и хотелось как-нибудь забыть о ней, сделать вид, что ее как бы нет. Но оказалось, что это трудно. Читая Густава Эмара «Арканзасские трапперы», я сразу же догадывался, что эти трапперы не пустили бы меня даже на порог своего Арканзаса. Роберт — один из детей капитана Гранта — вдвоем с Тальваком отбился от волчьей стаи, а между тем он был на год моложе меня. В каждой книге на трусов просто плевали, как будто им нравилось бояться и дрожать, вызывая всеобщее презрение. Мне тоже хотелось плевать на них, и Пашка сказал, что это характерно.

— Следовательно, — сказал он, — в тебе все-таки есть зачатки храбрости, которые надо развить, пока не поздно. Иначе они могут зачахнуть.

В нашем дворе красили сарай. Для начала он предложил мне пройти по лестнице, которую маляры перебросили с одной крыши на другую. Я прошел, и Пашка сказал, что я молодец, но не потому, что прошел, — это ерунда, а потому, что не побледнел, а, наоборот, покраснел. Он объяснил, что Юлий Цезарь таким образом выбирал солдат для своих легионов: если от сильного чувства солдат бледнел, значит он может струсить в бою, а если краснел, значит можно было на него положиться. Потом Пашка посоветовал мне спрыгнуть с берега на сосну и тут как раз усом-

нился в том, что Цезарь пригласил бы меня в свои легионы, потому что я побледнел, едва взглянул на эту сосну, которая росла на крутом склоне берега, с толстыми, выгнутыми, как лиры, суками. Сам он не стал прыгать, сказав небрежно, что это для него пустяки. Главное, объяснил он, прыгать сразу, не задумываясь, потому что любая мысль, даже самая незначительная, может расслабить тело, которое должно разогнуться, как пружина. Я сказал, что, может быть, лучше отложить прыжок, потому что одна мысль, и довольно значительная, все-таки промелькнула в моей голове. Он презрительно усмехнулся, и тогда я разбежался и прыгнул.

Забавно, что в это мгновение как будто не я, а кто-то другой во мне не только рассчитал расстояние, но заставил низко наклонить голову, чтобы не попасть лицом в сухие торчащие ветки. Я метил на самый толстый сук и попал, но не удержался, соскользнул и повис, вцепившись в гущу хвои, исколовшей лицо и руки. Потом подлец Пашка, хохоча, изображал, с каким лицом я висел на этой проклятой сосне. Но все-таки он снова похвалил меня, сказал, что зачатки храбрости, безусловно, разовьются, если время от времени я буду повторять эти прыжки, по возможности увеличивая расстояние.

На Песчинке стояли плоты, и Пашка посоветовал мне проплыть под одним из них, тем более что в то лето я научился нырять с открытыми глазами. Это было жутковато — открыть глаза под водой, — сразу становилось ясно, что она не приспособлена, чтобы через нее смотреть и что для этого существует воздух, стекло и другие прозрачные вещи. Но и она тоже была как-то тяжело-прозрачна, и все сквозь нее

было зеленовато-колеблющимся: слоистый песок, как бы с важностью лежавший на дне, пугающиеся стайки пескарей, пузыри, удивительно не похожие на выходящий из человека воздух.

Плотов было много. Но Пашке хотелось, чтобы я проплыл под большим, на котором стоял домик с трубой, сушилось на протянутых веревках белье и жила целая семья — огромный плотовщик с бородой, крепкая поворотливая жена и девчонка с висячими красными щеками, всегда что-то жевавшая и относившаяся к нашим приготовлениям с большим интересом. Мне как раз казалось, что зачатки храбрости продолжали бы развиваться, если бы я проплыл под другим, небольшим плотом, но Пашка доказал, что небольшой может пригодиться только для тренировки.

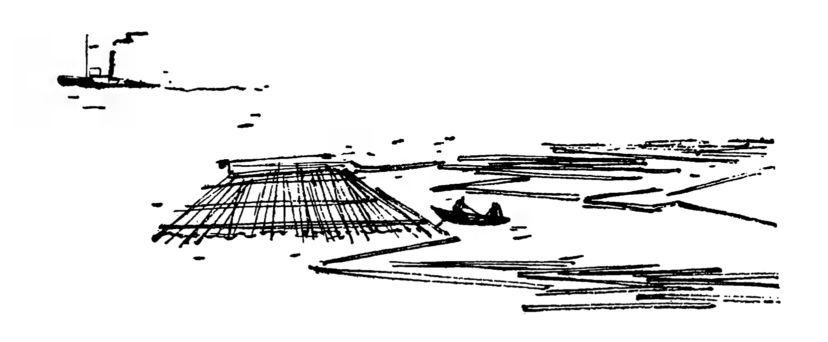
— А для тренировки, — объяснил он, — лучше просто сидеть под водой, постепенно привыкая не дышать. Ведь это только кажется, что дышать необходимо. Йоги, например, могут по два-три месяца обходиться без воздуха.

Я согласился и три дня просидел под водой, вылезая только, чтобы отдохнуть и поговорить с Пашкой, который лежал на берегу голый, уткнувшись в записную книжку, — он отмечал, сколько максимально времени человеческая особь может провести под водой.

Не помню, когда еще испытывал я такую гнетущую тоску, как в эти минуты, сидя на дне с открытыми глазами и чувствуя, как из меня медленно уходит жизнь. Я выходил синим, а Пашка почему-то считал, что нырять нельзя, пока я не стану выходить красным. Наконец однажды я вышел не очень синим,



и Пашка разрешил нырять. Он велел мне углубляться постепенно, под углом в 25—30 градусов, но я сразу ушел глубоко, потому что боялся напороться на бревно с гвоздями. Но поздно было думать о гвоздях, потому что плот уже показался над моей головой — неузнаваемый, темный, с колеблющимися водяными мхами. По-видимому, я заметил эти мхи, прежде чем стал тонуть, потому что сразу же мне стало не до них и захотелось схватиться за бревна, чтобы как-нибудь раздвинуть их и поскорее вздохнуть. Но и эта мысль только мелькнула, а потом слабый свет показался где-то слева, совсем не там, куда я плыл, крепко сжимая губы. Нужно было повернуть туда, где был этот свет, эта зеленоватая вода, колеблющаяся под солнцем. И я повернул. Теперь я уже не плыл, а перебирал бревна руками, а потом



уже и не перебирал, потому что все кончилось, свет погас... Я очнулся на плоту и еще с закрытыми глазами услышал гудение, в котором неясно пробивались те самые слова, за которые я не любил друзей нянькиного Павла. Гудел и говорил слова плотовщик, а Пашка сидел подле меня на корточках, похудевший, с виноватым лицом. Я утонул, но не совсем. Щекастая девочка, сидевшая на краю плота, болтая в воде ногами, услышала какое-то бульканье, и плотовщик вытащил меня за голову, высунувшуюся изпод бревен.

Лето кончилось, и начались занятия, довольно интересные. В третьем классе мы уже проходили алгебру и латынь. Юрка Марковский нагрубил Бороде — это был наш классный наставник, — и тот велел ему стоять всю большую перемену у стенки в коридоре, а нам — не разговаривать с ним и даже не подходить. Это было возмутительно. Юрка стоял как у позорного столба и растерянно улыбался. Он окликнул Таубе и Плескачевского, но те прошли раз-

говаривая — притворились, подлецы, что не слышат. Мне стало жарко, и я вдруг подошел к нему, заговорив как ни в чем не бывало.

Мы немного поболтали о гимнастике, правда ли, что к нам приехал чех, который будет преподавать сокольскую гимнастику с третьего класса? Борода стоял близко, под портретом царя. Он покосился на меня своими глазками, но ничего не сказал, а после урока вызвал в учительскую и вручил «извещение».

Ничего более неприятного нельзя было вообразить, и, идя домой с этой аккуратной, великолепно выполненной бумагой, я думал, что лучше бы Борода трижды записал меня в кондуит. Отец будет долго мыться и бриться, мазать усы каким-то черным салом, чтобы они стояли, как у Вильгельма Второго, а потом наденет свой парадный мундир с медалями — и все это, сердито покряхтывая, не укоряя меня ни словом. Лучше бы уж пошла мать, которая прочтет «извещение», сняв пенсне, так что станут видны покрасневшие вдавленные полоски на переносице, а потом накричит на меня сердито, но тоже как-то беспомощно. Ужасная неприятность.

Пошла мать и пробыла в гимназии долго, часа полтора. Должно быть, Борода выложил ей все мои прегрешения. Их было у меня немало: географ запнулся, перечисляя правые притоки Амура, и я спросил: «Подсказать?» У нас учился сын вице-губернатора Крайтон, чистенький, затянутый, с красными бровками. Все ему было ясно, все он объяснял тоненьким уверенным голосом, так что я от души удивился, что он не понимает, как происходит размножение в природе, которое мы как раз проходили. Я объяснил, и он в тот же день изложил своей бонне

это поразившее его естественноисторическое явление. Бонна упала в обморок, хотя в общем я держался в границах урока. Словом, были причины, по которым я бледнел и краснел, ожидая маму и нарочно громко твердя латынь в столовой.

Она пришла расстроенная, но чем-то довольная, как мне показалось. Больше всего ее возмутило, что я хотел подсказать географу притоки Амура.

— Я не знала, что мой сын хвастун, — сказала она с презрением. — Да еще и невежа.

— И трус, — сказал я и заплакал.

Это был позор, тем более что еще утром Пашка рассказал мне о спартанском мальчике, который запрятал за пазуху украденную лису и не заплакал, хотя она его истерзала. Но я не заревел, а просто вдруг закапали слезы. Мама села на диван, а меня посадила рядом.

— Нет, совсем не трус, — сказала она.

Пенсне на тонком шелковом шнурке упало, вдавленные красные полоски на переносице подобрели.

— Я сказала вашему Бороде, что горжусь тем, что ты подошел к Марковскому, — сказала она. — Подрывать чувство товарищества — это еще что за метода!

Она стала длинно объяснять, как, по ее мнению, должен был в данном случае поступить классный наставник. Я не слушал ее. Неужели это правда — я не трус?

Целое лето я старался доказать себе, что я не трус, и, даже сидя под водой, мучился, думая, что лучше умереть, чем бояться всю жизнь, может быть полстолетия. А оказалось, что для этого нужно было только поступить так, чтобы потом не было стыдно.



Гимназисты

Хаким держал со мной пари, что он пройдет за Емоцией по всему коридору с папиросой в зубах, пуская дым за пазуху, чтобы было не так заметно. И он бы прошел, если бы Гришка Панков не дал ему подножку. Емоция обернулся, побагровел, и Хаким попал в кондуит. Это было плохо: за него в гимназию платил дядя, а отец служил официантом у дяди. Хаким любил хвастаться родственниками и доказывал, что дядя — потомок того Акбулата, о ко-

тором написал Лермонтов: «И не было отважней Акбулата». Но об отце он говорил кратко: «зверь».

На перемене я подошел к Панкову и сказал, что он подлец. Он стал оправдываться, но я доказал, что он все равно подлец. И тогда он замахнулся, но не ударил, а только сказал: «Коньками». Это означало, что мы будем драться коньками.

Панков был маленький, горбоносый, желтый. В хрестоматии «Отблески» была картинка: «Утро стрелецкой казни», и мне казалось, что, если бы он жил тогда, он был бы одним из этих стрельцов с бешеными глазами. Стрельцы были связаны, и, когда я смотрел на Панкова, мне тоже всегда хотелось его связать. Но как дерутся коньками? Я пошел к Альке Корчевскому, но и он не знал, хотя из-за катка в каждом классе сидел по два года. Мы подумали и решили, что Панков так сказал потому, что в прошлом году коньками чуть не убили кадета.

На всякий случай я сочинил прощальное письмо Шурочке Вогау, которая мне так нравилась, что однажды, проходя мимо ее дома, я засмотрелся на окна и больно стукнулся головой о телеграфный столб. Но мы были не знакомы, и письмо вышло не специально Шурочке, а вообще девочке, в которую я как бы влюблен.

Мы условились встретиться на пустыре, за катком, и я замерз, дожидаясь Панкова. Мне было все видно из темноты, и я слышал, как одна гимназистка умоляла мать не ждать ее у входа на каток, потому что над ней смеются подруги. Гимназистка была дородная, краснощекая и все распахивалась — ей было жарко, а мама — маленькая, сухонькая и завернутая, как кукла.

Я прождал Панкова час, но он не пришел. Это было поразительно, потому что хотя он был подлец, но смелый. Из нашего класса он один бросался с мола вниз головой. Испугаться, уклониться от драки — это было на него не похоже!

На другой день в гимназию пришла его мать, и я удивился, что она такая красивая, в пуховом платке, с большим благородным лицом. Панков, оказывается, пропал, и она боялась, что он сбежал на войну. Емоция, с которым она говорила, объяснил, что согласно положению о казенных гимназиях учащийся не может сбежать на войну без разрешения начальства.

О Гришке поговорили и перестали, потому что к нам назначили математика с интересной фамилией Остолопов. Емоция привел его в наш класс и, чтобы мы не смеялись, сказал, что в древности был такой знаменитый философ. Но наш Остолопов не был философом. Когда он входил в класс, на доске неизменно было написано: «Мурочка» или «Верочка» — гимназисты не знали точно, в кого он влюблен. Он часто таращил глаза, и тогда казалось, что сейчас он скажет нечто значительное, а он говорил, например: «Кто дежурный?», или с иронией: «Опять забыли тетрадь дома на рояле?» Но все-таки он был приятный. Мне нравилось, что по алгебре он читал нам вроде лекций, как в университете. Жаль только, что мы в них ничего не понимали. Иногда он сам запутывался и тогда спрашивал: «Теперь ясно?»

В городе стало много беженцев, и к нам перевелись трое поляков. «Беженцы» было новое, казавшееся странным слово. Все хотелось сказать — беглецы. Наши поляки были именно беглецы — груст-

ные, озирающиеся и как бы чувствующие, что они все еще куда-то бегут. Они прекрасно знали латынь, и наш Токаревич ставил их в пример на каждом уроке — быть может, поэтому их не очень любили.

Словом, произошло так много, что все забыли думать о Гришке. И вдруг на уроке истории дверь распахнулась, вошел директор, а за ним Гришка — веселый, загорелый, желто-румяный, в солдатской гимнастерке, с георгиевской медалью на груди.

Все обомлели, и директор сказал речь. Он сказал, что перед нами маленький герой, показавший незаурядное мужество на позициях, и он, директор, надеется, что теперь Панков покажет такое же мужество в борьбе против геометрии и латыни. Что касается нас, то мы теперь должны вести себя как можно лучше, поскольку среди нас находится маленький герой.

Вся гимназия заговорила об этой истории, и наш четвертый «Б» сразу прославился. Меня даже остановил восьмиклассник Перчевский, надушенный, с усами, и спросил: правда ли это? Было неприятно, что приходилось как бы гордиться Панковым, но я все-таки ответил небрежно: «Конечно. И что же?» Но прошло месяца два или три, и мы перестали гордиться Панковым.

У нас был довольно буйный класс, и прежде Гришку уважали за то, например, что он мог выстрелить в немку жеваным комком бумаги. А теперь это стало неинтересно, потому что безопасно. В крайнем случае немка оставила бы его на час после уроков.

Мы любили изводить географа Островского, который легко раздражался, но никого не в силах был

наказать, так что распространился слух, что он толстовец. А теперь перестали, потому что Емоция, немедленно являвшийся на шум, лебезил перед Гришкой. Гришка всегда начинал «бенефис» — так называлось у нас хлопанье партами, кукареканье и блеяние. Он ходил, заложив руки в карманы, и врал: на новых похвальных листах в одном углу будет он, а в другом — казак Кузьма Крючков, уложивший одиннадцать немцев; царь на днях приедет в Энск и от губернатора махнет прямо к Панковым, специально, чтобы пожать Гришке руку. Панковы жили в покосившемся старом доме на набережной, из которого, переругиваясь с рыбаками, выходили на берег полоскать белье девки с румяными смелыми лицами.

Он нам надоел в конце концов, и однажды, когда он стал ругаться при Федьке Кошелеве, который не выносил ругательств и стоял весь белый, со стиснутыми зубами, я подошел к Панкову и сказал:

— Ну что, испугался тогда прийти на каток?

Он сразу кинулся на меня и ловко ударил маленьким крепким, как железо, кулачком в зубы. Это было в длинном коридоре со столбами освещенной пыли, косо лежавшими на паркетном полу, с неподвижной фигурой Остолопова, стоявшего, как всегда, расставив ноги, заложив руки за спину, под портретом царя. Сперва было незаметно, что мы деремся, тем более что Алька сразу властно раскинул руки, чтобы нам никто не мешал. Панков был ниже меня, но сильнее. Мы упали, но на полу мне как-то удалось отодрать его от себя.

Еще недавно Пашка практически доказывал мне, что в драке замахиваться нельзя, потому что проис-

ходит огромная потеря времени, которой может воспользоваться противник. И когда мы вскочили, была подходящая минута, чтобы вспомнить этот совет. Но я не вспомнил. Панков снова ткнул меня в зубы, и так больно, что я не то что заплакал, а как-то взвыл от бешенства и боли.

Не знаю, как это произошло, но дрались теперь уже не только мы, потому что вдруг я увидел на полу Федьку Кошелева, который, болезненно вздрагивая, старался закрыть голову руками. Взволнованное лицо Остолопова мелькнуло, но — куда там! Его мигом оттерли. И вся дерущаяся, кричащая, смеющаяся толпа гимназистов двинулась по коридору. Классные надзиратели бежали вверх по лестнице. Емоция вышел из учительской и с изумлением остановился в дверях. Кончилась большая перемена, прозвенел звонок, но никто не обратил на него внимания. Баба, торговавшая булочками у шинельной, испуганно схватила корзину, но кто-то поддал корзину ногой, и булочки разлетелись по коридору.

У нас дрались почти ежедневно, но не все сразу, а по правилам и где-нибудь на дворе, чтобы не видели педагоги. А тут не только началась всеобщая беспричинная драка, но вообще все стали вдруг делать то, что запрещалось. Маленькие кричали, визжали и прыгали в пыли, от разбойничьего свиста звенели стекла — у нас были посадские, которые умели свистеть в два пальца. Один пятиклассник оседлал другого и прыгал у него на плечах, хохоча и размахивая ранцем.

Я потерял Панкова, потом снова нашел. «Берегись, кастет!» — закричал кто-то, и я понял, что кас-

тет — это сверкнувшие металлические язычки, торчавшие из кулака Панкова. Он отскочил, ударил, и, когда я падал, мне показалось, что вместе со мной шатается и падает всё — Остолопов, продиравшийся



сквозь толпу, с растрепанной бородкой и широко открытыми глазами, косые столбы пыли и — это было особенно страшно — портрет царя, вдруг криво отвалившийся от стены на длинной веревке.

Я очнулся на полу, между партами, и потому долго ходил с маленьким синим шрамом на лбу.

Потом оказалось, что портрет царя действительно упал. Специальная комиссия под руководством Емоции занялась этим вопросом. В сущности, вопрос был физический: каким образом от шума и грохота со-



рвался со стены тяжелый портрет в золоченой раме? Но Емоция хотел воспользоваться этой историей, чтобы спихнуть директора, и поэтому вопрос стал рассматриваться как политический. На директора был составлен донос, в котором указывалось, что он либерал, поскольку во вверенной ему гимназии срываются и падают портреты царей.



Доктор Парве

Я проглотил граммофонную иголку, и мама послала меня к доктору Парве. Он был занят, и, пока я ждал его, мне становилось все страшнее. Я вспомнил, как мы купались в Черняковицах, в речке плавали «волосы», и Пашка сказал, что они живые и могут впиться в тело и дойти до сердца. Я вспотел от ужаса. Прежде я даже любил представлять себе, как я умираю: гимназический оркестр идет за моим гробом, играя похоронный марш, мор-

тусы с грубыми, притворно-грустными мордами медленно шагают по сторонам колесницы. Шурочка Вогау мелькает в толпе, прижимая платочек к покрасневшим глазам. А я лежу в открытом глазетовом гробу и думаю со злорадством: «Ага, дождались! Так вам и надо». Но в приемной доктора Парве меня почему-то не утешила эта красивая картина.

Иголка, без сомнения, уже прошла в желудок, и хорошо, если она не сразу пробралась сквозь четыре пирожка с мясом, которые я съел за обедом. Но на это было мало надежды.

Наконец больной ушел. Доктор проводил его и занялся мною. Он был высокий, полный, с крупными следами оспы на розовом лице и светлыми насмешливыми глазами. Нос у него тоже был насмешливый, острый. Еще недавно он служил в Николаевском военном госпитале в Петербурге и был на хорошем счету у начальства. Но однажды в офицерском собрании он поднял тост за ниспровержение самодержавия, и, хотя впоследствии удалось как-то замять эту странную историю, его перевели в провинцию, в Томский пехотный полк. Теперь он был на плохом счету у начальства. Но, по-видимому, это не отразилось на его настроении. Он всегда шутил и, узнав, что я проглотил граммофонную иголку, тоже пошутил, сказав насмешливо:

— Музыкальный мальчик.

Потом он спросил, как это произошло, и я ответил с отчаянием, что играл иголкой, катая ее во рту, и она нечаянно скользнула в горло.

— Тупым концом?

Этого я не знал, но на всякий случай ответил:

— Тупым.

Мне казалось, что если я скажу — тупым, то все-таки больше шансов, что это именно так, даже если она скользнула острым.

Доктор задумался. По-видимому, в его практике это был первый случай. Потом он быстро влил в меня столовую ложку касторки и сказал:

— Подождем.

Я спросил, может ли иголка дойти до сердца и, если да, сразу ли я умру? Он ответил, что сердце, во всяком случае, останется в стороне, потому что игла движется в противоположном направлении.

Несколько лет я не думал о докторе Парве, хотя иногда он бывал у нас и даже любил после обеда поваляться на диване в столовой. Но во время войны, когда мы стали сдавать комнату, он вдруг переехал к нам. Доктор считался политически неблагонадежным, и его даже не отправили на позицию. Он остался на пополнениях, в то время как Томский полк давно выступил и многие знакомые офицеры были ранены или убиты.

Два раза в неделю у него был прием, и, очевидно, он очень внимательно осматривал больных, потому что некоторые сидели у него очень долго, а некоторые даже оставались ночевать. Это тоже было что-то политически неблагонадежное или, во всяком случае, относившееся к революции. Правда, Пашка думал, что, поскольку она неизбежна, то есть произойдет все равно, нет смысла ей помогать и, таким образом, доктор напрасно рискует. Но это был парадокс, с которым я не мог согласиться.

Однажды доктор вышел из своей комнаты с таинственным видом:

— Ребята, идите сюда.

Мы пошли и увидели, что в кресле у письменного стола с закрытыми глазами сидит человек. Руки у него были подняты, точно он собрался лететь, лицо спокойное, спящее, и он действительно спал.

— Попробуйте согнуть ему руку, — сказал доктор.

Мы попробовали.

— Смелей!

И, подогнув ноги, мы повисли на согнутых руках, как на штанге. Это было страшно, потому что казалось, что руки могут сломаться. Но они не сломались. Человек ровно дышал, и ему, по-видимому, не приходило в голову, что мы проделываем такие штуки.

Я скоро забыл об этой истории, но на Пашку она произвела глубокое впечатление. Он нарисовал на потолке черный кружок и смотрел на него подолгу, не отрываясь: воспитывал силу взгляда. Однажды он даже попробовал ее на Остолопове, который хотел поставить ему по геометрии единицу, но под воздействием этой силы исправил на двойку.

Из нью-йоркского института знаний, помещавшегося в Петрограде на Невском проспекте, 106, он выписал книгу «Внушение как путь к успеху». Это была интересная книга, но путь к успеху, оказывается, шел не через внушение, а через самовнушение. Нужно было внушить себе, что мы волевые и энергичные люди и тогда нам не избежать успеха, то есть богатства. Именно так поступили в свое время Рокфеллер, Карнеги и другие. О гипнозе упоминалось мельком, но зато с намеком на Распутина, который будто бы достиг высшей власти с помощью именно этой духовной материи.

Каждый день после гимназии Пашка пытался

усыпить меня. И хотя иногда действительно хотелось спать, сон сразу же проходил, едва он с дьявольским выражением решимости впивался в меня широко открытыми глазами. Он мне надоел, и в конце концов, чтобы отделаться от него, я однажды решил притвориться, что сплю.



Это было под вечер в нашей комнате с кривым полом, по которому на пасхе мы всегда катали раскрашенные яйца. Пашка сказал, что сейчас он внушит мне нечто, то есть на расстоянии передаст свою мысль. Мы шли по комнате, он смотрел мне в затылок, и, хотя расстояние было небольшое, мне никак не удавалось угадать эту мысль, может быть, потому, что приходилось все время удерживаться от смеха. У окна я остановился, зажмурился и хрюкнул. Но, очевидно, Пашка внушал мне что-то другое, потому что я почувствовал, что сейчас он даст мне по шее. Тогда я прижался носом к стеклу, открыл глаза и отскочил, чуть не сбив с ног гипнотизера. С другой стороны окна, прижавшись к стеклу, на меня смотрела чья-то страшная приплюснутая рожа.



Пашка стал было доказывать, что это и была его мысль, то есть, что он внушил мне увидеть рожу, но это было уже чистое вранье, потому что полчаса спустя мы встретили обладателя этой рожи на углу Гоголевской, в двух шагах от нашего дома. Это был приличный господин с усами, в меховой шапке, который долго топтался на углу, а потом ушел и вернулся в картузе.

Мы сразу побежали к доктору, потому что это был, без сомнения, шпик, то есть полицейский агент. Но доктор засмеялся и сказал, что это не шпик, а нянькин ухажер и что он сменил меховую шапку на картуз, чтобы понравиться няньке. При этом доктор почему-то торопливо перебирал бумаги в ящике письменного стола. А потом снял офицерские брюки и остался в кремовых шерстяных кальсонах. Он пе-

реоделся в штатское и, вынув из другого ящика стола револьвер, небрежно сунул его в карман пиджака.

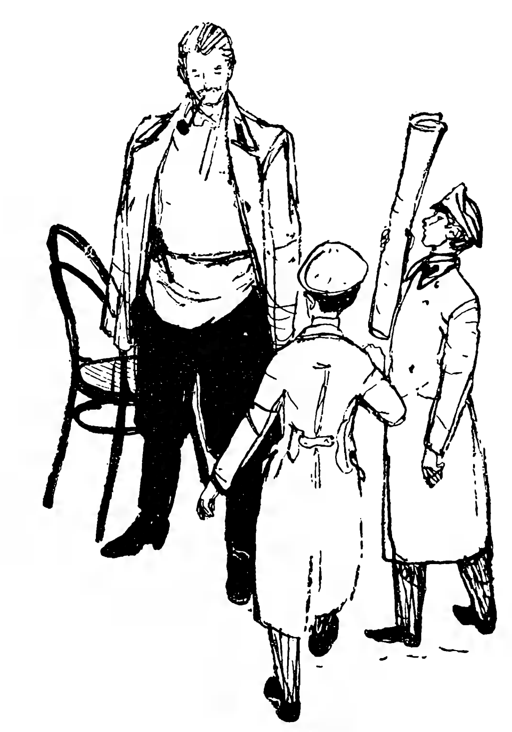
— Ну, конечно, я его знаю, — улыбаясь, говорил он. — Такой симпатичный господин с усами. О, конечно, это нянькин поклонник, и остается только удивляться ее успеху в столь преклонные годы. Но мне не хочется с ним встречаться, потому что он всегда приглашает меня к себе, а сегодня я очень занят. Немного боюсь, что он обидится, если я откажусь. Так что лучше я пройду через сад отца Кюпара, а вы, ребята, останьтесь в моей комнате, пожалуйста, да. Почитайте, да. Пройдитесь туда-назад. Опустите шторы, да. Зажгите настольную лампу. Допустим, что я еще здесь. О, недолго, десять или пятнадцать минут.

Он протянул нам обе руки, мы пожали их — Пашка левую, а я правую — и ушел.

Мы зажгли настольную лампу и стали изображать: Пашка — доктора, а я — пациента. Он подсунул под курточку подушку, чтобы казаться толще, и задумчиво расхаживал из угла в угол, а я снимал и надевал рубашку перед шторой. Мы дурачились до тех пор, пока в передней не раздался продолжительный, резкий звонок. Это была полиция — двое городовых, один штатский и жандармский офицер, которого мама встретила, надменно закинув голову с бьющейся от волнения жилкой на левом виске. Обыск продолжался долго, до ночи. В доме не спали. Нянька, растрепанная, в грязном халате, сидела на кухне и говорила, что во всем виноват патриарх Никон и что миру скоро конец, потому что люди забыли старую веру.

Больше я не видел доктора Парве. В 1919 году к нам пришла высокая бледная женщина в черном — его жена, то есть вдова — так она сказала. Ей хотелось поговорить о нем. Она была совсем молоденькая, тоненькая. Мы поговорили, а потом она показала карточку — голый толстый мальчик, похожий на доктора, с таким же насмешливым носом, сосал пятку, жмурясь от наслаждения.

Доктор был расстрелян белоэстонцами. Когда Юрьев был взят, наши предложили обмен пленными. Белые согласились, но потом передумали и расстреляли весь Юрьевский ВРК на станции Монастырка.



План обороны

Отец Кюпар сказал на уроке закона божьего, что Брестский мир — измена, и Алька из протеста выстрелил в потолок. У него был старый револьвер системы «лефоше», и мы потом удивлялись, как он вообще выстрелил, хотя Алька утверждал, что еще совсем недавно он убил из него галку. Достать к не-

му патроны было невозможно, и мы решили пойти в военно-революционный комитет, чтобы нам выдали другое оружие. Кроме того, у нас был собственный план обороны Энска, и нам хотелось изложить его Климанову, начальнику штаба. Насчет винтовок мы решили не говорить, хотя к ним тоже не было патронов. Винтовок у нас было много, но до поры до времени мы их держали в Пашкином чулане, потому что женщины сразу начинали кричать, особенно сестра, которая должна была родить и боялась за своего ребенка. Алька прекрасно чертил, и к письменному плану мы приложили карту, основанную на исторических данных. Две реки — Песчинка и Тихая — сливались под кремлем, защищающим Энск с юга и юго-востока. Он стоит на высоком берегу, и немцы однажды уже были разбиты наголову под окружающей его крепостной стеной. Правда, это было давно, но мы считали, что стратегически город с тех пор даже выиграл, потому что тогда на левом берегу был лес, а теперь местность просматривалась до самого горизонта.

Мы показали часовому, стоявшему у губернаторского дома, наши удостоверения. Я был председателем, а Алька секретарем шестого класса «Б».

— Ладно, проходи, — сказал часовой, не читая.

Дверь в кабинет была открыта, и там стоял у окна и курил Борис Климанов. Он был студент-технолог, товарищ Глеба, и сейчас тоже был в накинутой на плечи студенческой тужурке. Косоворотка была расстегнута. За поясом торчал великолепный наган — не чета нашему «лефоше», в который приходилось засовывать по одному патрону.

Я сказал, что мы просим выдать нам оружие, по возможности легкое, которое удобно носить при себе. Климанов улыбнулся:

— А зачем вам оружие?

Алька ответил, что это странный вопрос, поскольку мы ведь просим не пулеметы, а самые обыкновенные революьверы. План был свернут в трубку, и он нарочно держал его высоко, как свечку, чтобы Климанов спросил, что это такое.

Климанов спросил, и мы мигом развернули на его столе нашу карту. Кое-что пришлось обозначить условно, мы торопились, но все-таки было совершенно ясно, что, если немцы сунутся с юга или с юго-востока, они будут вынуждены отступить, понеся огромные потери, а если с севера — нужно их пропустить, оставив на еврейском кладбище засаду. Стратегически это крайне просто, а тактически — остроумно. Именно так в свое время поступил Александр Невский.

Алька говорил твердо, хотя руки его немного дрожали. У него рано стала расти борода, и теперь, когда он побледнел от волнения, она была особенно видна — белая, пушистая, начинавшаяся почти под глазами. Климанов слушал внимательно, но, кажется, больше интересовался этой бородой, чем нашим стратегическим планом.

— Очень интересно, — наконец вежливо сказал он. — Сейчас дело обстоит так, что ваш план едва ли пригодится. Но вы можете нам помочь. И очень. Кстати, сейчас мне звонила Блюм из книжного склада.

И он отправил нас на книжный склад, крепко пожав руки и сказав серьезно:

— Там для вас найдется работа.

Мы ушли, в садике чуть не подрались. Я доказывал, что нечего было упоминать об Александре Невском, сравнение не доказательство, а Алька считал, что разговор нужно было начать именно с карты, а уж потом незаметно перейти на оружие.

Мы зашли в книжный склад, но там не было никакой работы. Заведующая Блюм раздавала книги, и можно было взять сколько угодно и унести домой. Я хотел набрать разных, но она не дала, и пришлось взять наудачу несколько толстых пачек. Мы снесли их, а потом вернулись, потому что Блюм была старая, больная и один раз уже слетела с лестницы, таская книги в подвал совдепа. Она обрадовалась и все повторяла ласково: «Ну и марксята, ну и марксята». И уговорила взять еще несколько пачек, одну здоровенную, так что пришлось тащить ее на палке.

Нянька пекла кокоры из картофельной шелухи, я выпросил одну с луком. Сестра должна была рожать. В доме начался переполох, нянька убежала. Я стащил еще одну кокору — для Альки, и мы отправились на митинг в городской театр.

Митинг шел с утра. Когда мы пришли, выступал трудовик в пенсне, который начал свою речь с того, что он очень устал. И действительно, у него был измученный вид. Но подобное начало никому не понравилось, и солдаты закричали: «Устал, ну так отправляйся на боковую!» Но трудовик не согласился и продолжал свою речь. Он был знаменитый, специально приехавший из Петрограда. Но его все-таки не слушали. Поднимался шум, и он ждал, утомленно и терпеливо.

Мы с Алькой стояли на балконе — там, где я слушал Губермана. Но как все изменилось с тех пор! Тогда в зале была «публика», то есть люди, заплатившие деньги, чтобы сидеть здесь в приличной одежде и слушать. Дамы гордо оглядывали друг



друга с головы до ног, мужчины были в визитках и фраках, и только в первых двух рядах я насчитал одиннадцать лысых. Вице-губернатор сидел в ложе, и знаменитый скрипач поклонился публике, а потом отдельно — ему.

А теперь было холодно и шумно, солдаты курили, и табачный дым медленно расплывался в тускло освещенном зале. Все двери в фойе были распахнуты настежь, и везде стояли и сидели солдаты, а на хо-



рах под скамейками некоторые даже спали. На сцене все было красное — длинный стол президиума, за которым сидели члены исполкома с повязками на рукавах, и другой стол — для выступлений. Знакомый занавес с бородатым человекокозлом, сидящим на пне и играющим на свирели, который прежде всегда долго рассматривали, ожидая, когда за сценой ударят в тарелки — так в Энске начинался спектакль, — был оттянут в глубину, и человекокозел выглядел сейчас сморщенным и недовольным.

Трудовик еще выступал, и, громко разговаривая, солдаты выходили в фойе. Я слышал, как один молодой сказал засмеявшись: «Нас, брат, дешево не купишь. Мы — распропагандированные».

Вдруг все повалили обратно, и мы тоже, хотя уже снова хотелось есть и приходилось что-то делать в уме, чтобы не думать об этом. Выступал тоненький юноша в очках, острый, похожий на легкую птицу, быстро и весело оглянувший зал. Сперва один, потом еще два матроса поднялись на сцену и прошли перед ним, с размаху сдернув с головы бескозырки.

Я спросил солдата:

— Это кто?

Он ответил с удивлением:

— Не знаешь, что ли? Володарский.

Потом мы с Алькой путались, вспоминая его речь, точно Алька слышал одно, а я совершенно другое. Но у нас было одинаковое, очень странное чувство, что под ногами не истертые доски пола в энском театре, а земной шар. На этом сияющем летящем шаре уже произошла или скоро произойдет революция, и немцы, наступающие на Энск, в такой же мере могут остановить этот полет, как мошки, налипающие летним вечером на стекла мчащегося автомобиля. «Новое рождается в муках», — сказал он.

— А все-таки жалко, черт побери, что Климанову не понравился наш план, — вздохнув, сказал Алька.

Мы пошли доставать патроны для винтовок, но один знакомый типографский ученик, встретившийся на Плоской, сказал, что наши уходят из города без боя. Он сказал, что сейчас, по-видимому, важно не обороняться, а отступать, тем более что немцы те же солдаты, только обманутые Антантой. Но Алька не согласился и сказал, что это предательство сдавать без боя такой город и что пяти пулеметов на колокольне кремля вполне достаточно, чтобы показать немцам — обманутые они или нет, — где зимуют раки.

Сестра рожала, когда я вернулся домой.

Мне показалось странным, что в столовой сидели и разговаривали, а когда сестра кричала, никто к ней не шел, а только с какой-то важностью прислушивались, и опять начинался неторопливый разговор.

Глеб пришел, когда стало смеркаться, и мама вздохнула с облегчением: она волновалась. Он был в снегу — на дворе мело, — но сбросил шинель, не стряхивая снега. Он сказал, что наши уходят и он тоже. В городе знают, кто снял иконы в семинарской церкви и переделал ее в клуб уполитпросвета. Если немцы не сразу возьмут власть в свои руки, мясники, конечно, сразу же убьют его. А может быть, и нас, так что на всякий случай нужно спрятаться всей семьей у отца Кюпара. Мясники были известные черносотенцы, носившие на демонстрациях портрет царя и ходившие в поддевках, с ножами.

Я вошел к маме, когда она прощалась с Глебом. Они сидели на диване, и она вдруг сильно прижала его голову к груди. Она любила его больше нас и Лизы.

— Ничего, мамочка, — ласково пробормотал он.

Потом он обнял за плечи меня и Пашку и сказал, что надеется на нас — теперь мы единственные мужчины в доме. Отец стоял со своим полком на острове Даго и, возможно, попал в плен, потому что немцы, оказывается, наступают по всему фронту от Балтийского до Черного моря.

Это было неудачно, что сестра вздумала рожать в такой день, но ничего нельзя было сделать, и все ходили оглушенные, морщась и затыкая уши. Акушерка сердилась: стемнело, начинали постреливать, она жила далеко, у Ольгинского моста.

Нянька сидела в кухне, в платке, сползшем с лысеющей головы. От нее пахло ханкой, и она говорила, что когда немцы придут, она скажет им: «зетцен зи зих» и «гут морген».

Наконец сестра родила девочку. Все побежали к ней. Младшая Черненко вскоре вышла довольная, позвякивая ключами в кармане. Девочка была худая и длинная, как червяк.

— Некрасивая, ужас! — сказала она. Она сама недавно родила, и у нее девочка была беленькая и хорошенькая.

Теперь уже не постреливали, а стреляли вовсю, и мы стали беспокоиться, как бы не услыхала сестра, потому что у нее могло пропасть молоко, которого, правда, еще не было, но оно вскоре должно было появиться. Но она не проснулась, даже когда снаряд попал в мастерскую усатого сапожника в двух шагах от нас, на углу Застенной, и убил его, как мы узнали наутро.

Мы с Пашкой стояли у окна, и меня немного трясло, хотя я не чувствовал страха. Пашка объяснил, что это не страх, а просто в подобных случаях человек за миллионы лет приучился бояться, и во мне ляскают зубами предки, с которыми можно справиться усилием воли.

На улице мело, снег закручивался как-то страшно, словно кто-то бросался им в окно из темноты.

— Стой! Куда, куда? Назад! — закричали на улице, и мы услышали выстрел, а потом протяжный, замирающий крик. Потом все стихло, и только, мотаясь и как будто не зная, куда деваться, все падал и падал косой, остренький снег.

Никто не ложился в эту ночь. Все называли меня



К стр. 73.

дядей, и, действительно, я стал дядей, как это ни было странно. Девочка лежала распеленатая, вертя головкой, ничуть не похожая на червяка и вообще симпатичная, особенно для человека, родившегося всего несколько часов тому назад. Это было поразительно, что ее только что совсем не было и что на земном шаре, на этом сияющем, летящем земном шаре, о котором говорил Володарский, до сих пор, по-видимому, не хватало только ее. Она была совершенно новая, и для всех было важно, что она родилась с темным мягким чубиком на затылке и что она вдруг сморщилась и чихнула. Все засмеялись, и на усталом, бледном лице сестры появилось радостное, удовлетворенное выражение.

Утром я пошел посмотреть, взяли ли немцы город, и встретил одного у лавки Гущина. Молоденький, он шел, зажав под локтем винтовку и беспечно оглядываясь. Другой — старый, сердитый — расклеивал афиши: комендант фон Фогель приказывал немедленно сдать оружие.

Я прочел и решил, что теперь можно не бояться, что мясники убьют нас из-за Глеба, потому что немцы, несомненно, взяли власть в свои руки. Но оружие мы все-таки не сдали. Мы отодвинули собачью будку и закопали наши винтовки, предварительно смазав их лампадным маслом, которое с большим трудом стащили у няньки.

— Пригодятся, — пробормотал Пашка.

Его кривой, острый нос блестел решительно. Мы поставили будку на место. Умирающая от старости Преста смотрела на нас покорными слезящимися глазами.



Волчий билет

Немцы вошли, и стало тихо и скучно. Улицы они назвали по-немецки, одну даже Унтер ден Линден, как в Берлине. Прежде денег было много, а провизии мало, а теперь стало наоборот, и все равно ничего нельзя было купить, потому что все остались без работы.

На заседании городской думы купец первой гильдии Ячменев напомнил, что Энск был некогда воль-

ным городом и до Ивана Грозного прекрасно управлялся посадником, власть которого была ограничена вечем. Посадника не выбрали, но образовалось правительство, в которое вошел, между прочим, наш инспектор Емоция в качестве министра народного просвещения. Но, очевидно, Емоция не был уверен в прочности нового государственного строя, потому что, когда фотограф снимал правительство, Емоция прикрыл физиономию шляпой, чтобы впоследствии сказать, что это был не он.

Ровно в полдень в губернаторском саду начинал играть военный оркестр, и немецкие офицеры, прямые, с откинутыми плечами, прогуливаясь, приветствовали друг друга коротким, полным достоинства рычанием: «Моен».

По воскресеньям теперь служили в соборе, дамы приезжали в страусовых боа, в шляпах с птицами, и казалось, что такие боа и шляпы носили не два года тому назад, а двести. Вдруг оказалось, что в Энске много генералов и даже один сенатор, явившийся, как Бонапарт, в треуголке. По воскресеньям устраивались верховые прогулки, и однажды я видел всадницу, сидевшую не верхом, как мужчины, а боком, спустив на сторону маленькие ножки. Шурочкин дядя, ротмистр Вогау, ехал за нею, играя стеком, в котором был спрятан стилет.

В немецкой комендатуре всем выдали аусвейсы с отпечатком большого пальца и описанием примет. И в этот день в гимназии было много драк, потому что нашлись дураки, которые стали утверждать, что мы теперь будем немецкие подданные. Но драки были тайные, в уборной или на дворе. В гимназии была теперь солдатская дисциплина.

— Как при Кассо, — сказал возмущенно Пашка.

Кассо был министр просвещения, умерший, когда Пашка учился в приготовительном классе.

Снова мы ходили на утреннюю молитву, и у отца Кюпара был теперь не елейно-добродушный, а елейно-мстительный вид. Не прошло и месяца, как на общем собрании было решено отменить латынь, а мы уже пять раз в неделю зубрили Овидия, и Борода — это было прозвище латиниста — никому, даже полякам, не ставил больше трех с плюсом.

Это началось на уроке латыни. Он вызвал Вальку Лапотникова, которого мы любили за то, что он прекрасно играл на скрипке, и тот стал переводить по подстроку. Прежде Борода сказал бы только: «Ну-с, сударь», — и поставил бы Вальке единицу, а теперь он выгнал его из класса и на педагогическом совете настоял, чтобы его исключили на две недели. Это была неслыханная подлость. Подстроки были у всех, хотя ими действительно запрещалось пользоваться в классе. Были подстроки заслуженные, ветхие, которыми пользовались еще наши старшие братья, а были и новые, тоже хорошие, свободно продававшиеся в книжном магазине. Их издавал какой-то Нетушил — по-видимому, один из лучших людей на земле. Он не тушил, но и не поджигал и вообще не делал ничего дурного.

В другое время мы не приняли бы эту историю так близко к сердцу, тем более что Валька в общем был доволен, главным образом потому, что мог теперь с утра и до вечера пиликать на своей скрипке. Но Борода сподличал только потому, что в городе были немцы. Этого мы ему простить не могли.

На классном комитете Алька сказал, что теперь,

когда история за полтора года шагнула вперед приблизительно на столетие, выносить подобные оскорбления от статского советника мы не имеем права.

Алька сильно развился с тех пор, как утверждал, что наши классовые враги — халдеи. Он плохо учился, и его всегда мучили угрызения совести, потому что его отец работал в кузнице и ему было трудно платить за Альку в гимназию.

Никто не знал, что в нашем классе сохранился комитет — последнее время мы почти не собирались. Но когда Борода настоял на исключении Лапотникова, мы решили объявить однодневную забастовку.

Фактически это была клятва, когда Алька, подняв руку, спросил: «Слово?», и весь класс ответил: «Слово!» Но на всякий случай мы все-таки поставили патрули на Кузнечной, или Шмиденштрассе, и на Опойковой, или Унтер ден Линден. По Унтер ден Линден шлялся Панков, который так загорелся, что спросил даже: «Стрелять?», очевидно намереваясь первого же штрейкбрехера уложить на месте. Он уже не служил в милиции, но на всякий случай таскал с собой солдатский наган. Мы сказали, что стрелять пока не надо.

И штрейкбрехер нашелся, правда только один. Толстяк Плескачевский, сын предводителя дворянства, показался на Кузнечной, пугливо оглядываясь и по-медвежьи подворачивая ноги. Мы отлупили его по розовым щекам, а книги вытащили из-за пазухи и разорвали. Он заревел и ушел.

В общем забастовка полностью удалась, поскольку в класс пришел только один человек и то племянник Бороды, которого мы не решились отлупить, потому что он шел вместе с дядей. Но, с другой

стороны, нельзя было сказать, что она удалась, потому что вечером ко мне прибежала Галя и сказала, что весь класс исключен—двадцать шесть человек, причем пять — с волчьим билетом, то есть без права поступления в учебные заведения России.



По-видимому, на нас донес Плескачевский, так что мы сразу решили его убить. Алька сказал, что он нашел еще два патрона к своему «лефоше» и что Плескачевского надо застрелить в городском саду, когда он пойдет к билетерше, в которую влюблен.

На другой день все делали вид, что ничего не случилось, и Борода—тоже, хотя от него попахивало водкой и он мрачно щурил маленькие глазки. Мы сговорились с восьмым «Б», что, если нас исключат, они тоже объявят забастовку, а восьмой «Б» — с обоими седьмыми, так что фактически





должны были забастовать все старшие классы.

Вечером мы с Алькой ждали Плескачевского в городском саду. Билетерша, довольно противная, тоже ждала его. Мороз был действительно сильный, мы закоченели, особенно я. Алька собирался стать чемпионом мира по фигурному катанию и привык тренироваться на катке в одной куртке. У него всегда был лиловый, озябший вид, но в тот вечер он выглядел особенно плохо. Пока мы сидели в кустах, он рассказал, что ночью к нему приходил отец, который, оказывается, всю жизнь мечтал, что Алька кончит гимназию.

Трагедия, брат, — уныло пробормотал Алька.

Плескачевский долго не шел, и мы стали бояться, что «лефоше» отсыреет, хотя Алька почти все время грел его на животе. Потом мы узнали, что Плескачевский засел дома, потому что, кроме

нас, его съездил по морде немецкий офицер — просто так, без всякой причины. Такие случаи бывали.

Утром наш класс не погнали на молитву — очевидно, Емоция решил, что закоренелым грешникам уже не поможет обращение к богу. Он явился бледный, испуганный и больше чем когда-либо похожий на деревянного человека для щелкания орехов. Борода шел за ним, на этот раз хлебнувший фундаментально. По-видимому, он все-таки любил наш класс, и ему было неприятно, что нас выгоняют.

Емоция стал читать постановление педагогического совета. Мы слушали молча. Действительно, пять человек — братья Чеботаревы, Рейзен, Алька и я — были исключены с волчьими билетами. Всем остальным — новая подлость — предлагалось подать покаянное заявление. Они должны были раскаяться и в дальнейшем вести себя как примерные мальчики, безусловно подчиняясь педагогическому совету. В первой четверти всем, в том числе и племяннику Бороды, была выставлена двойка по поведению.

— За всю историю нашей гимназии, — поучительно подняв палец, сказал Емоция, — это первый и, будем надеяться, последний случай. — О забастовке он ничего не сказал. Очевидно, она по своей природе не могла войти в историю энской гимназии.

— Кучка безумных ораторов, — дрожа, закончил инспектор, — получила достойный урок.

Мы вышли парами, как было условлено, и сразу побежали к восьмиклассникам. Пусто! В седьмых тоже было пусто — начальство оказалось хитрее нас и отпустило домой старшие классы.

— В Ботанический! — крикнул Алька.

И мы со всех ног побежали в Ботанический, как

будто именно там, в занесенном снегом пустынном Ботаническом саду с его красивой, вдоль крутого обрыва аллеей, могли найти защиту от подлости и коварства халдеев. На дне обрыва тоже была аллея, приводившая к плоскому, заросшему мхом камню. Это была могила самоубийцы — подходящее место, чтобы обсудить наши дела. Мы столпились вокруг нее, разгоряченные, возмущенные, а некоторые — кислые и, очевидно, подумывающие о том, чтобы подать покаянное заявление. В общем скоро стало ясно, что подадут почти все: пансионеры, потому что они живут в гимназическом пансионе, и, если их выкинут, останется только одно — идти побираться; поляки, потому что война скоро кончится, и они вернутся в свои гимназии, а если не подадут — не вернутся.

Хаким сказал, что он тоже подаст, потому что ему будет худо, если он не подаст. Он не стал объяснять, но все поняли, что тогда его убьет отец. Он вдруг заплакал, и всем стало страшно, когда, плача, он почему-то стал мять руками скуластое осунувшееся лицо.

Через полчаса мы остались одни — «кучка безумных ораторов» подле заросшего мхом плоского могильного камня. Самоубийц хоронили при дороге, и здесь, должно быть, тоже пролегла когда-то, круто вбегая вверх, дорога. Она и теперь еще была видна — два просвета среди кустов бузины, обступивших ее со всех сторон и грустно склонившихся под тяжестью снега. Два просвета под острым углом и там, высоко, над верхней аллеей, еще один. Еще один, распахнутый, как ворота, в обетованную страну, куда ушел Глеб и уходили другие, подкупив немецких часовых коробкой папирос «Сэр» или куском мыла.



„Пауки и мухи"

У Гали не было чувства юмора, это смутно угнетало меня. Однажды я стал читать ей Козьму Пруткова. Она слушала внимательно, подняв красивые карие глаза, но стала смеяться только, когда я объяснил ей, что это смешно. Ей нужно было многое объяснять, хотя она была двумя годами старше меня и перешла в восьмой класс Мариинской гимназии. Она была убеждена, что к чтению надо гото-

виться, и книга долго лежала у нее на столе, прежде чем она за нее принималась. Все время, пока я был влюблен в нее, она готовилась прочитать толстую книгу «Библия и Вавилон». В конце концов, когда я садился у ее ног на полу, я стал подкладывать под себя эту книгу.

Казалось, это было давно — то, что она видела, как Емоция выгонял нас с Алькой из реального, и наша прогулка большой компанией на Мятную гору. На Мятную всегда ездили за ужами, но не доезжали и высаживались под какой-нибудь деревней на левом пологом берегу. Не доехали и мы. В одной избе были посиделки, мы подошли и долго стояли в сенях у открытых дверей. Гармонист играл не останавливаясь, мужчины неподвижно, прямо сидели на скамейках, девки жались и хихикали по углам. И вдруг Галя лихо прошлась с платочком в маленьком тесном кругу.

Потом мы вышли, спустились к воде и сели в пустую лодку. Я щелкнул портсигаром, который накануне получил в подарок от мамы вместе с разрешением курить.

— Витя, зачем вы курите? Чтобы казаться старше?

— А вы не хотите, чтобы я курил?

— Да, не хочу.

Я размахнулся и бросил портсигар в воду...

Каждый день мы бродили по городу, но не по главным улицам, а вдоль крепостной стены, по берегам Песчинки. Здесь был старый город с выщербленными от времени и ветра плитами, с рухнувшей башней, в которой еще сохранились бойницы, с похожим на большое коромысло билом в Соборном саду. И нам казалось, что то, что произошло между нами,

могло произойти только в этом высившемся старом городе, стоявшем на слиянии двух чистых и быстрых рек, а не в том притихшем скучном Энске, где на каждом углу открылись теперь пивные и после семи часов вечера никто не выходил из дома.

Мы говорили о любви, и Галя утверждала, что любовь без детей безнравственна. Я нехотя соглашался. Она думала, что необходимо освободиться от самоуверенности, которая мне очень вредит. Было верно и это. Но как? И мы приходили к выводу, что мне может помочь только дисциплина духа. Каждое утро я должен говорить себе:

— Ты ничем не отличаешься от других, ты самый обыкновенный человек. Если бы ты не существовал, ничего бы не изменилось.

Но дисциплины духа хватало только на два-три дня, а потом у меня вылетало из головы, что я ничем не отличаюсь от других, и начинало казаться, что все-таки отличаюсь.

— Впрочем, ума моего спутника мне совершенно достаточно, — сказала однажды Галя.

Она была смуглая, серьезная и становилась еще серьезнее, когда мы целовались. А в эту минуту румянец пробивался сквозь смуглоту загара, и она посмотрела на меня искоса засмеявшимися глазами.

Мы говорили о политике — толстые пачки, которые сунула нам старая Блюм из книжного склада, были давно развязаны, и оказалось, что все это только одна маленькая книжка — «Пауки и мухи» Либкнехта на немецком языке. Автор доказывал, что капиталисты — пауки, а рабочие — мухи. Гале первой пришло в голову, что недурно было бы раздать эту книжку немецким солдатам.

Я посоветовался с Алькой, и он согласился.

— Да, но не бесплатно, — сказал он.

И мы решили менять «Пауков и мух» на сигареты, потому что это казалось более естественным с точки зрения немецких солдат.

Это делалось так: мы спрашивали солдата, нет ли у него сигарет. Он вынимал пачку, мы шарили в карманах и, ничего не найдя, тащили из учебника «Пауки и мухи». Уходить нужно было не торопясь, и это было самое трудное, потому что почти всегда хотелось бежать со всех ног.

Когда нас исключили, мы впервые в жизни стали заниматься серьезно, и «кучка безумных ораторов», как мы теперь себя называли, в два месяца обогнала класс по меньшей мере на полгода. Некоторые учителя помогали нам, разумеется тайком от начальства. И вот однажды, когда ко мне пришел Остолопов и мы решали с его помощью довольно трудные геометрические задачи, в окно постучали, и кто-то сказал протяжно:

— Солнышко!

У Остолопова стало строгое лицо, а ребята засмеялись. И действительно, среди параллелепипедов и пирамид это прозвучало несколько странно.

Под окном стояла Галя. Возможно, что у нее были основания называть меня так иногда. Все равно, сперва нужно было подумать, один ли я, тем более что она как-то проблеяла это слово.

Я в бешенстве выскочил на двор. Она повернулась и ушла.

Это была наша первая ссора, и, когда ребята разошлись, я открыл окно и посмотрел, точно она еще могла стоять там — хорошенькая, серьезная, в рас-

пахнутом пальто, со снежинками, не таявшими на смуглом лице. Как внимательно она слушала, когда я кипятился! И я решил пойти к ней и сказать, что с моей стороны это было все-таки свинство.

Кареевы жили на Застенной, в маленькой светлой квартире с вышитыми накидками на высоких подушках, с ковриками у дивана, с дорожками на столах. Все это было рукоделие Галиной мамы. Отец служил в городской типографии. Он был сухощавый, со светлой бородкой, всегда что-то мурлыкавший про себя, незаметный. Однажды он вошел, когда мы целовались. Он сказал только: «А, Галя, ты здесь?» — и вышел, смутившись больше, чем мы.

Но на этот раз, когда мы целовались, вошел не отец, а тот самый приличный господин с усами, которому так хотелось пригласить к себе доктора Парве. Он вынул револьвер, быстро, ловко обыскал меня и сказал: «Можете идти».

У меня еще осталось несколько «Пауков и мух», но я побежал к Альке, потому что на днях один парень из типографии принес ему настоящие прокламации: «Знаешь ли ты, что происходит в Германии?», которые уже невозможно было менять на сигареты, а приходилось оставлять в городском саду, где гуляли с барышнями немецкие солдаты.

Мы сожгли прокламации и побежали ко мне. Что-то подрагивало у меня внутри и прошло только, когда Алька презрительно спросил: «Испугался?»

Сестра как раз топила плиту, и было бы удобно сжечь на кухне остаток «Пауков и мух», но я боялся, что от волнения у нее пропадет молоко, и пришлось сжечь в моей комнате потихоньку. Вот был бы номер, если бы в это время за нами пришли! Но никто

не пришел. Я жег один, а Алька пока показывал палец ребенку сестры, потому что он ревел и переставал только, когда Алька показывал ему палец.

К вечеру явилась похудевшая Галя и сказала, что у нее арестовали отца. Вообще в городской типографии арестовали много народу и в том числе парня, который принес прокламации Альке.

...Казалось, ничего не переменилось в городе с началом зимы. Солдаты по-прежнему шумели в бирхалле, офицеры с моноклями гуляли в Губернаторском садике, надменно приветствуя друг друга. Но что-то переменилось.

В городском саду на темной аллее гимназисты набили морду немецкому офицеру и ушли как ни в чем не бывало.

На дворе кадетского корпуса, по-гусиному выкидывая ноги, маршировали солдаты. И вдруг один положил винтовку на землю и неторопливо побрел в сторону, не выкидывая ноги.

Я решил, что это наша работа, тем более что это был солдат, которому мы всучили «Пауки и мухи». Но потом оказалось, что в Германии произошла революция, и она, по-видимому, произвела на солдата не меньшее впечатление, чем наша брошюра.

Похоже было, что немцы потеряли интерес к тому, что происходило в Энске, и занялись своим делом. Зато нашими занялось правительство во главе с купцом первой гильдии Ячменевым. Правительство стало формировать военные части.

...Это был тревожный день. Утром ушел Пашка, получивший повестку, хотя ему только что исполнилось восемнадцать лет. Сперва он решил скрываться в городе, а потом все-таки ушел, потому что его



легко было узнать по кривому длинному носу В доме осталось пять женщин, не считая ребенка сестры, и один мужчина — это я. Приняв во внимание это обстоятельство, нянька выдала мне на завтрак двойную порцию каши.

К обеду все стали говорить, что немцы уходят. Опустив голову, ротмистр Вогау промчался по городу на коне, в бурке, с неизменным стеком. Добровольцы, которыми он командовал, маршировали с песнями у Коровьей горки.

По-видимому, и нам с Алькой пора было уходить. Но это было невозможно, по крайней мере для меня, потому что я вдруг получил от Гали записку, в ко-



торой она просила меня ждать ее до двенадцати часов ночи. Записку принесла девочка с ее двора, в валенках, с косичками, лет восьми, лихая.

Алька остался у меня и заснул, хотя хвастался, что может не спать по четверо суток. Около двенадцати в окно постучали. Мы выскочили. Галя стояла во дворе, дрожа, кутаясь в шаль, накинутую на пальто. Ее отец вышел из темноты и сказал нам негромко: «Здравствуйте».

Мы поняли, что он бежал из тюрьмы. Он сказал, что рабочие завода Стассена собираются в Петровском посаде.

Будку растащили на дрова, но я, конечно, знал, где она стояла, потому что не раз сам сидел в этой будке с Престой. Земля еще не замерзла, мы копали руками, и винтовки скоро показались — три наших и одна австрийская, легкая, на ремне. Ремень заплесневел, но был еще крепкий.

— Это все?

Алька сказал, что у него еще есть «лефоше», очень хороший, только немного заржавел и поэтому иногда бывают осечки. Патронов мало — два, но бой превосходный.

Я тихонько двинул его и сказал:

— Все.

Мы вышли за ворота.

На углу Андреевской я обернулся. Все окна бы-

ли темные, только у дяди Леонида чуть виднелся слабый свет ночника. Он играл на немой клавиатуре в тишине, в сумраке, в холодной комнате, с ногами, закутанными в старую шаль. Он играл о том, как проходит дождь и ветер стряхивает с ветвей последние капли, о том, как зимним утром женщины полощут в проруби белье и тонкий лед звенит ломаясь. Он играл о том, как в ледяном дворце из ледяных кубиков мальчик Кай складывает слово «вечность».

Мы стали спускаться к реке. Ночь была безлунная, темная. Снег недавно выпал и растаял. Винтовка оттягивала руку, и я пожалел, что не пристроил к ней гимназический ремень, как это сделал Алька.



Вурдалак

Да, это был не Энск! Накануне отъезда в Москву я похвастался, что могу достать билеты, и Глеб сказал:

— Пожалуйста, если ты тут персона грата.

В Энске я был «персона», хотя, может быть, и не такая уж «грата»! Но чем дальше отходил поезд, тем меньше становилась моя персона. В переполненном душном вагоне, едва освещенном оплывшим

огарком, где, чтобы добраться до уборной, приходилось со стесненным сердцем ступать между головами, никому не было дела до того, что неделю тому назад я был почти единогласно избран председателем ученического совета энской гимназии. Но интересно, что нечто подобное произошло и с могучей персоной моего старшего брата. Он заснул, потерял шапку и, пока мы искали ее, несколько раз сказал упавшим голосом: «Хорошая шапка». Шапка нашлась. На вокзале, когда проверяли документы, он зачем-то сообщил маленькому унылому красноармейцу в неподпоясанной шинели, что он председатель совстардема, то есть совета старост медицинского факультета.

Мы приехали ночью в лечебницу доктора Рознатовского — здесь Глеб принимал больных, хотя был еще студентом пятого курса. Лечебница была маленькая, и все в ней было металлическое, стеклянное и холодное — шкаф с инструментами, кресло с короткими передними и длинными задними ногами, стол, напоминавший человека, ставшего на четвереньки. Глеб достал откуда-то кислородную подушку, задумчиво повертел в руках, потом надул и положил в изголовье клеенчатой белой кушетки.

— Спи.

Но я не уснул. Голова скатывалась с упругой подушки, хотелось есть — если бы мы были в Энске, я без стеснения сказал бы об этом брату.

Утром Глеб взял телефонную книгу и стал выбирать для меня подходящую школу. Реальное училище Алябьева понравилось ему, очевидно, потому, что на гимназических вечерах он иногда с успехом исполнял «Соловья» Алябьева на скрипке. Конечно, это был другой Алябьев. Кроме того, училище было

близко от той квартиры, в которую брат надеялся вскоре переехать.

Мне не понравилось у Алябьева. Во-первых, это было все-таки бывшее реальное, а к реалистам, которых мы в Энске называли «рыжими», я, как гимназист, относился с презрением. Во-вторых, заведующий с обвисшими усами, виновато улыбнувшись, сказал брату:

— Мы, в сущности, не столько занимаемся, сколько питаемся.

И действительно, вскоре привезли кашу на салазках, какой-то шкет стал ее делить, а мне, как новенькому, не дал. Я немного постоял в стороне с гордым видом и вышел. Поблизости было еще несколько школ. Я наудачу зашел в 144-ю единую трудовую на Садово-Триумфальной, очень хорошую, если судить по заведующему, который понравился мне с первого взгляда. Он был маленьким, с льняной бородкой и прозрачными глазами. Девочки наперебой кричали ему: «Кирилл Андреич! Кирилл Андреич!» Он шутил с ними и меня тоже выслушал приветливо, по-видимому, я заинтересовал его просто как личность.

Я поступил в эту школу и вскоре выдвинулся, чего мне очень хотелось. Я выдвинулся прежде всего как оратор, настойчиво защищавший идею самоуправления, согласно которой школа должна была управляться непосредственно школьниками, хотя и с известным участием педагогического персонала. Это была революционная идея, потому что большинство школьников было за революцию, а большинство педагогов, по-видимому, против. Идею самоуправления из педагогов поддерживал, в сущности, один только Ки-

рилл Андреевич. Публично он не выступал, но мы часто бывали у него дома и разговаривали о том, как все будет хорошо, когда мы сами будем управлять школой.

Вообще трудно было представить себе более скромного и в то же время значительного человека. Он выхлопотал в виде сухого пайка часть продуктов, которые полагались нашей школе, — некоторым ребятам было удобнее готовить дома. Он достал — с большим трудом — рыбий жир и выдавал его сам по ложке в день, а слабым даже иногда по две ложки. Он был, оказывается, видный подпольщик, работавший под кличкой «Пахом» и сбежавший с каторги в гробу, притворившись мертвым.

...Учитель рисования Фонвизин ухаживал за одной девочкой, и мы с Кириллом Андреевичем приготовили против него большую речь, которую я произнес на коллективе. Речь имела успех, потому что я выступал объективно. В свою очередь, Кирилл Андреевич кратко, но убедительно охарактеризовал меня, и я почти единогласно был избран председателем школьного коллектива. Правда, некоторые упоминали о каком-то Ваньке Пестикове в том смысле, что нужно выбрать его, поскольку я свалился как снег на голову неведомо откуда. Но Ванька был болен.

В общем идея самоуправления оправдала себя. Например, на уроки прежде почти никто не ходил, особенно к математику, который требовал, чтобы ему отвечали. Я предложил с утра распределять, сколько человек пойдет на какой урок — приблизительно поровну, чтобы никому из педагогов не было обидно. И ребята стали ходить, потому что поняли, что это

нужно. Прежде девочки устраивали вечеринки три раза в неделю, а теперь, взяв это дело в свои руки, я довел до двух и т. д.

Словом, в школе дела шли хорошо, во всяком случае, лучше, чем дома. Из лечебницы мы переехали в маленькую квартиру на Второй Тверской-Ямской — Глеб уверял, что выиграл ее в карты. Пашка явился из Энска, поступил в университет, и началась ужасная жизнь в холоде, грязи и ежедневных драках с историком литературы Бельчинским, который жил над нами и утверждал, что мы уклоняемся от снежной повинности, что было более или менее справедливо. Потом Пашка, считавшийся в нашей семье будущим великим химиком, провалился по химии у Каблукова, и это глубоко поразило Глеба.

Посмотри на братишку, — сказал он с горечью. Он уже персона грата, по крайней мере у себя в школе. А ты?

Мне очень понравилось, что Глеб думает, что и в Москве я уже персона грата. До некоторой степени это было именно так. Наша школа входила в тринадцатое объединение, и Кирилл Андреевич однажды сказал мне, что там меня считают одним из заметных председателей школьных коллективов.

Ванька Пестиков выздоровел и пришел в школу, но не на уроки, которые в последнее время почему-то снова стали ограничиваться раздачей каши, а на вечеринку. Маленький, скучный, он прошел по темному залу, где за грудами учебных пособий и книг целовались пары, и сказал, что мы с Кириллом развалили школу. Я пошел к нему объясняться, и мы подружились. Он был рыжий, твердый, и его почему-то хотелось слушаться.

— Ты не глуп, — сказал он. — Но человека не понимаешь.

— Какого человека?

— Вообще. Как особь.

Ванька считал, что человечество делится на простаков и вурдалаков — теория, напомнившая мне «Пауков и мух» — брошюру, которую в Энске мы раздавали немецким солдатам. Но интересно, что к вурдалакам, причем опаснейшим, он причислял Кирилла Андреевича. Это был, разумеется, вздор. В этот день я пошел в школу, чтобы посидеть хоть недолго на тригонометрии. Для других ребят это могло бы послужить примером, что именно я, как председатель, пошел навстречу математику, который в общем был прав, требуя, чтобы ему отвечали. Но в классе никого не было, хотя я немного опоздал. Все сидели в зале на втором этаже и слушали Ваньку Пестикова, выступавшего, по-видимому, по вопросу обо мне, потому что, входя, я услышал свою фамилию.

Это было возмутительно, что коллектив собрался как бы за спиной председателя, и я прежде всего прервал Ваньку и заявил протест. Но меня выслушали с неопределенными лицами, и потом собрание продолжалось. В общем суть дела заключалась в том, что половина наших сухих пайков продавалась на Сухаревке — так по крайней мере утверждал уголовный розыск. Утром они поступали в распоряжение Кирилла Андреевича, а от него прямо на рынок. Он не работал под кличкой «Пахом» и не бежал с каторги в гробу, а служил в каком-то питомнике для благородных девиц ведомства императрицы Марии.

— А наши, значит, неблагородные? — с горечью сказал общественный обвинитель.

Все были заинтересованы — и Ванька, как он заявил, и черненький парень из угрозыска, и свидетели, от которых пахло рыбьим жиром, и, очевидно, сам Кирилл Андреевич, который сидел в первом ряду странно розовый, с казавшимися теперь приклеенными бородкой и усами.

— Да, очень интересно, с иронией сказал он.

Он попросил слова и, начав с детства, которое протекало в обстановке тяжелой борьбы за существование, схватился за сердце и упал. По-видимому, это был сердечный припадок, а может быть, и нет, потому что он сперва оглянулся, а уже потом стал падать. Девочки бросились к нему, Ванька повелительно остановил их, и, полежав немного, Кирилл Андреевич встал. Бороденка его тряслась, глаза потускнели. Он вышел пошатываясь, и черненький, в кожаной куртке тотчас встал и вышел за ним.

Потом Ванька, хотя никто его об этом не просил, предложил переизбрать председателя коллектива и получил на один голос больше, чем я. Я потребовал вторичного голосования выходом в дверь. И на этот раз Ванька тоже получил больше, чем я, но уже не на один голос, а почему-то на восемнадцать.

Было темно и пусто, когда я вернулся домой. Хотелось есть, но потом перехотелось, и, постояв немного у окна, за которым в овальных сугробах лежал Оружейный переулок, освещенный луной, я лег и с головой покрылся шинелью.

Пашка привел закутанного крошечного парня в валенках, снявшего самодельный ватный футляр с покрасневшего носа, и сказал, что это гениальный конструктор мельниц, который и сейчас уже выше Толстикова, а в дальнейшем, по-видимому, доберется

до Бунге. Я не знал, кто такие Бунге и Толстиков, но все-таки этот крошечный парень заинтересовал меня.

— На днях, — сказал Паша, мы приступаем к строительству электрической мельницы, мельницы без крыльев, в три-четыре раза ускоряющей помол ржи.

Всю зиму мы ели оладьи из мороженой картошки. Однажды я видел, как в столовой чуть не убили солдата, бросившего корку хлеба собаке. Мне захотелось спросить, откуда Пашка собирается достать рожь, чтобы молоть ее в три раза быстрее, чем прежде, но я раздумал и снова спрятался с головой под шинель, облизывая искусанные, чтобы не заплакать, губы. Презрение к себе томило меня. Вурдалак с узкой бледно-розовой мордой, с мягкой бородкой и запачканными кровью усами смотрел на меня из темноты, и беспомощность наваливалась на сердце, как подушка, — мягко и безнадежно.



из книги

„МЫ СТАЛИ ДРУГИМИ"





„Муисто"

Год 1927-й, январь. Держа за руку маленькую дочку, я стою между холмами, по которым сбегают прямые накатанные следы лыж, поблескивающие на солнце. Снега так много, как будто огромные люди, тоже сделанные из снега, тысячу лет таскали его сюда и красиво укладывали, чтобы навсегда по-

хоронить озера и гати и чтобы легкий тонкий лес казался еще легче и тоньше.

Мальчишки из Ново-Сиверской катаются с гор, и так же лихо заворачивают они на полном ходу, без палок, как быстро поднимаются «елочкой» на своих подрезанных лыжах!

— Вот подрастешь и тоже будешь так кататься, Наташа, — говорю я дочке, и она соглашается:

— Ладно.

Один мальчик особенно занимает ее. Лет пятнадцати, остроносый, белобрысый, с заиндевевшими ресницами, в треухе, задранном на затылок, он бежит на гору под градом снежков, которыми осыпают его с вершины ребята. Э, да тут идет война!

Вот он падает в снег. Противник, воодушевленный удачей, с криком бросается к нему, еще мгновение — и белобрысый мальчик в плену. Как бы не так! Вдруг он вскакивает. Короткий свист — и его солдаты вылетают из-за осыпавшегося трамплина. Засада. Туча снега, в котором мелькают снежки. Противник отступает, бежит, и белобрысый мальчик бросается в погоню. Вот он догоняет одного из врагов, хватает за плечи, валит.

Придавив противника к земле, он произносит короткое финское слово.

— Папа, спроси его: он финн?

— Я карел, — с гордостью отвечает мальчик.

У него еще горят глаза. Бледный нежный румянец окрашивает щеки. Он стоит перед нами — стремительный, тонкий. Клок светлых прямых волос из-под шапки свисает на лоб.

— Что ты сказал ему по-фински?

— «Муисто». Это значит — «На память».

* * *

В течение пятнадцати долгих лет этот зимний солнечный день прячется в далекой глубине сознания. Был ли он или не был — не все ли равно! И вдруг он возникает передо мной — крутые холмы с накатанными следами лыж, треск мороза в лесу, синее, как кобальт, небо.

— Вот с кем вам нужно поговорить, — сказал мне главный врач госпиталя, — с Антоновым. Старший политрук из разведотряда. Награжденный тремя орденами. Попал к нам без документов.

— Почему без документов?

— Разведчик. Прямо с задания.

Через десять минут старший политрук, светлоглазый, белокурый, с тонкими чертами лица, прихрамывая, вошел в кабинет. Он заговорил, и меня удивил заметный финский акцент у человека с русской фамилией.

— Я карел, — отвечал он, — но свободно говорю по-фински. Часто приходится встречаться с финнами. Разведчик, такое дело!

Мы разговаривали до обеда. На другой день я пришел с утра, мы сидели в садике, и я записывал до тех пор, пока на прохладном ветру не застыли пальцы. Это были рассказы о боевых делах в дни Великой Отечественной войны.

Рассказ первый

«Темнело, когда мы вышли — семь человек. Каждого я знал, как брата.

— Если вы способны на трое суток превратиться в финнов, — сказал я друзьям, — сделайте это.

Они смеялись.

Перед рейдом я приказал выбросить из карманов курительную бумагу. Разведчика может выдать даже клочок бумаги. Мы взяли трубки. Я сам проверил крепление на лыжах, продовольствие и боеприпасы. В лица я не заглядывал. Для меня их лица были, как открытая книга. Открытая для друга, закрытая для врага.

Вот что должен был сделать наш небольшой отряд: проникнуть в глубокий тыл противника и взорвать железнодорожный мост.

Мы несли с собой тол, много тола, с которым нужно уметь обращаться. Перед нами было озеро, на том берегу — дорога, и эту дорогу нужно было пересечь незаметно для финнов.

Не в первый раз разведчики пытались в этом месте переходить через фронт. Но они не решались идти по озеру — открытое место. Они обходили озеро — и попадались. Но это было открытое место не только для нас. Финны думали: «Кто пройдет по этому озеру, которое, как белая скатерть, лежит перед нами?!»

Мы прошли. Мы выбрали самую плохую погоду на свете. Пурга свистела, мелкий жесткий снег бил в лицо, и сам дьявол, конечно, не разглядел бы нас в маскировочных халатах, которые я приказал выстирать перед рейдом.

Но нужно быть осторожным. За километр мы залегли в снег. Два человека пошли вперед. Они заметили провод на колышках — задень его, и сразу запылают сигнальные шашки: тревога! Перешли провод. К берегу подошли не под прямым углом, а параллельно. Так я приказал. Они подали знак, и мы вышли на дорогу. Теперь нужно было очень хитрить, чтобы белофинны не пошли по нашему следу.

Держа палки на весу (палки скрипят), мы прошли по дороге с полкилометра, а потом сняли лыжи и пешком вернулись назад. Мы, разведчики, хитрые люди.

По тропинке, которая вела в лес, мы тоже прошли пешком. А теперь — на лыжи! Линия фронта была за нами.

Очень трудно идти на лыжах всю ночь, и весь день, и снова всю ночь. Но мы разведчики, нам ничего, что трудно. Мы шли ночь, день, снова ночь. И погода становилась все лучше. Это было плохо. Мы ругались, конечно по-фински.

Вот и станция, а за нею мост.

— Нужно сделать петлю, — сказал я друзьям. Если по нашему следу идет погоня, пусть погоня пройдет у нас на виду. Тогда мы успеем уйти или убить их, если они нас обнаружат. И мы сделали петлю в два километра и залегли в пятидесяти метрах от своей лыжни, а на флангах выставили дозоры.

С тремя друзьями я пошел к станции. Мы были в ста шагах от нее. Все спокойно. Поселок, ходят люди. Эшелоны идут через мост. Солдаты не видели нас. Война есть война, смерть всегда за плечами.

Стемнело, и весь отряд подтянулся к станции и занял оборону. Вдвоем мы вышли на мост. Мы не нашли часовых; только трое солдат стояли внизу у водокачки и разговаривали о своих семейных делах. В самой середине моста мы заложили тол. Шнур короткий, на пять минут. Так я приказал, чтобы дело было вернее. Первая спичка загорелась и погасла. Я подумал: «Ну, конечно, сейчас заметят!» Нет, тишина. Вот второй шнур загорелся, и мы ушли.

Пять минут — немного. Но иногда они кажутся

пятью годами. Одна, другая, третья, четвертая... Мы уже лежали, и я посмотрел на часы. Пятая.

Эге, как высоко взлетел этот мост! Мы не пожалели тола. Дождь досок, пылая, посыпался с неба. Это было здорово, да! На пятнадцать суток главная станция, снабжавшая фронт, была выведена из строя».

Рассказ второй

«Взять «языка» решено было с боем в районе Продолговатого озера, длинные берега которого занимали финны. На правом берегу, если считать от нашей позиции, стояли два барака. Едва ли там был большой гарнизон. Но если и большой — все равно нам нужно было разгромить его и взять «языка». Таков приказ, а мы, разведчики, хорошо знаем, что такое приказ.

На этот раз я разбил свой отряд на группы. Одна берет под обстрел бараки, другая захватывает пленного, третья прикрывает вторую. Так я рассчитал, и это был хороший расчет. Но война есть война. На войне бывают странные вещи. Ты рассчитываешь то и это, ты думаешь: «Какой я умный, умнее всех». Но война, оказывается, умнее. Два километра мы ползли, почти не дыша. Мы бороздили лицами снег. Но ночь была лунная, и, когда до берега оставалось каких-нибудь восемьдесят метров, финны открыли огонь из автоматов и ручных пулеметов. Я приказал не отвечать. И мы долго лежали в снегу, как маленькие белые мыши. Ракета. Вторая и третья. Прожекторы. Потом все успокоилось. Мало ли что может почудиться усталому человеку!

Я приказал отползти назад. Что делать? Вернуть-

ся? Но мы, разведчики, упрямый народ. Назад, а потом снова вперед, — нужно иметь характер.

И мы снова пошли вперед, на этот раз севернее, ближе к берегу, на котором стояли бараки. Но это была проклятая ночь. Один из нас задел сигнальный провод, шесть шашек загорелись вокруг, мы затоптали их, но было уже поздно. Снова тревога. Я подумал: «Сейчас финны пошлют разведчиков. Они пошлют их по контрольной лыжне, но не по самой лыжне, а немного в стороне, чтобы не попасть в засаду».

Это была догадка, конечно. Но я знаю финнов. Это была догадка, которая помогла мне выбрать место засады.

Я приказал вырыть в снегу окопчики немного в стороне от лыжни, и мы залегли, дожидаясь, когда зверь сам забежит в капкан. Мы лежали и думали каждый о своем, но все вместе о том, чтобы это поскорее случилось. И это случилось очень скоро.

Двое финнов вышли из барака и пошли параллельно контрольной лыжне. Они почти наткнулись на наш правый фланг, и, когда они были в пятидесяти метрах от меня, я дал очередь из автомата. Они залегли. Потом один поднялся, хотел удрать, но я снова выстрелил и ранил его. Он упал и крикнул:

— Свои!

— Мы тоже свои, — сказал я по-фински.

Он ругался.

— Метко же вы стреляете по своим, — сердито сказал второй.

— Мы приняли вас за русских, — сказал я.— Где-то здесь бродят русские разведчики. Нас послали, чтобы найти их.

Мы были в маскировочных халатах и все время говорили с ним, по-фински, а сами подходили все ближе. Раненый встал ругаясь.

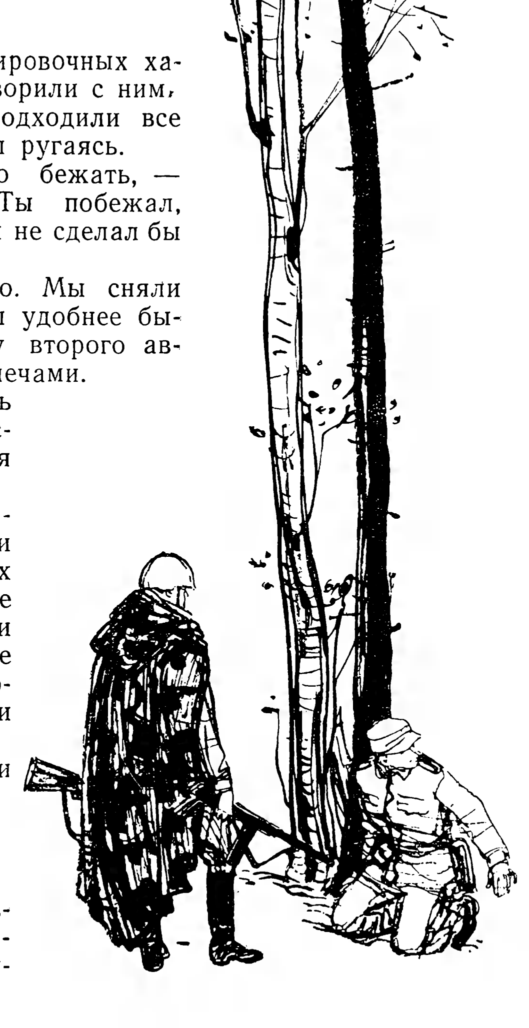
— Не надо было бежать, — сказал я ему. Ты побежал, я выстрелил. Разве ты не сделал бы так же?

Мы перевязали его. Мы сняли с него автомат, чтобы удобнее было перевязывать, а у второго автомат уже висел за плечами.

— Ну вот, а теперь слушайте меня: я русский, и вы у меня в плену.

Это было как молния ночью в лесу. Они поняли все, и у них стали очень серьезные лица. Мы положили раненого на запасные лыжи и повезли, а здоровый шел впереди и молчал.

К утру мы были в штабе».



Рассказ третий

«Калевала» — большая книга, она написана на карело-фин-

ской земле. Я сам родом из тех мест, где написана «Калевала». Вейнемейнен был разведчик, старый опытный человек, который слышал, как растет трава. Рыбы подплывали к берегу, когда он пел, и ветер, как собака, ложился у ног.

Я читал «Калевалу» — это книга о том, как природа помогает в бою. Мы — разведчики, нам нужно знать природу. Нужно понимать снег — и он спрячет твои следы. Лес скажет тебе: «Добро пожаловать», если ты его понимаешь. Болото, по которому ты прошел, остановит врагов, если ты умеешь читать его, как читал «Калевалу».

Но вот история о том, как природа сыграла против нас, — простая история о большом дожде.

Мы должны были пройти триста пятьдесят километров по чужой земле, взять данные и взорвать то, что на карте было обведено маленьким красным



кружком. Что значит «данные»? Это правда, которую скрывает противник. Вырвать у него эту правду и вернуться с нею к своим — вот что было нашей задачей.

Путь вперед — это один путь. Назад — это совсем другой. Ты идешь вперед и на последней границе оставляешь все, что дорого тебе на земле. Ты любишь девушку — забудь о ней. Еще один рейд, и ты поедешь в отпуск и будешь сидеть в отцовской избе, и ребята будут робко слушать тебя — забудь об этом, разведчик! Забудь! Ты один на чужой земле, у тебя нет имени. Убей того, кто тебя узнает. Дважды убей того, кто помешает тебе. Трижды убей того, кто разгадает, что приказал тебе начальник разведки. Но путь вперед — это только четверть дела.

Три недели мы провели в глубоком тылу. Мы сделали то, что приказал нам начальник разведки. Мы вырвали у противника правду и на всякий случай разделили ее на три части: один нес документы, другой — фото, третий — карты и еще кое-что.

Снег был уже мокрый, когда мы пустились в обратный путь. Он намерзал на креплениях, превращаясь в лед, — идти было все труднее. Это были первые сутки на обратном пути, и они тянулись немного дольше, чем нам хотелось. Но вот они кончились наконец. Мы устроили привал, сняли одежду, отжали ее и надели снова. Мы спали, сменяясь каждый час. Дул нордовый ветер, и я даже во сне надеялся, что к утру подморозит. Но мы вышли, и стал накрапывать дождь.

Я вырос на севере. Мне тридцать лет. Первые дожди проходят в этих местах приблизительно месяцем позже. В июне здесь бывают снежные бури. Но

это был дождь легкий, тонкий, усиливающийся с каждой минутой. Дождь и резкий ветер в лицо.

Трудно разведчику в далекой дороге менять зиму на лето. Что такое снег? Это друг, который тебя понимает. Вьется, падает между сопками лыжня, петляет и вдруг пропадает, сбивая погоню со следа. Друг изменил. Еще несколько часов, и мы бросили лыжи.

Легко сказать — мы бросили лыжи! Теперь мы могли есть только раз в день. Путь стал втрое длиннее. Мы шли, до колен проваливаясь в мокрый снег И не было ничего легче, как напасть на наши следы, потому что их можно было, пожалуй, разглядеть с самолета. Ничего, мы шли! Еще восемьдесят километров, и ты вспомнишь, что у тебя есть жена или мать. Товарищи встретят тебя и поздравят с благополучным возвращением из мрачной страны, которая в «Калевале» зовется страной Похьелы.

Это были вторые сутки на обратном пути — однообразные сутки, полные ветра и дождя и снова дождя и ветра. Мы шли в мокрых ватниках, в мокром белье. Хлеб превратился в кашу, а каша — концентрат — в холодную похлебку, которую мы запивали дождем. Но ни одна капля дождя не упала на документы и фото.

Конечно, было бы легче, если бы можно было снова сделать привал. Но с той минуты, как пошел дождь, об этом нечего было и думать. Мокрые с головы до ног, мы садились на мокрую землю, и холод, который бежал от нас, пока мы шли, теперь приближался и каждому протягивал холодную руку.

Мы шли, и нам снился жаркий полдень на берегу реки, июльский полдень, большое солнце в зените.

Где-то на земле есть огонь, у которого можно обсушить одежду, погреть руки, полежать с закрытыми глазами. Где-то сидят у печки люди в толстых шерстяных чулках и долго разговаривают, земляки заглядывают в избу и с уважением слушают рассказы. Вперед, разведчик! Еще рано думать о родных. До родной земли шестьдесят километров.

Первым стал сдавать самый молодой из нас — Вася Каратаев, мальчик, который ушел на войну из десятого класса. Он был отличный сапер и отличный минер. Он любил говорить: «Сапер ошибается только раз в жизни». Высокий, гибкий парень, немного слишком красивый для разведчика, то есть слишком заметный. Он шел в стороне и вдруг лег, а когда мы подняли его, сказал, что хотел немного отдохнуть, а потом догнать нас на лыжах. Лыжи были зарыты в снег за ночь пути до этого места. Я взял его за плечи и посмотрел в глаза. Я понял это чувство, когда все равно: умереть или жить. Я сказал ему: «Нужно идти, Вася», и он пошел, потому что знал: если он упадет, мы понесем его, и нам станет еще тяжелее.

Мы шли вперед. Мы даже пели иногда, разумеется, шепотом, потому что в рейде всегда говорят шепотом; когда возвратишься, даже странно слышать громкую речь. Мы не думали о смерти — черт с ней! Мы ели консервы на ходу и пили спирт — глоток в награду за километр, и кровь стучала в виски. Мы сняли ватники и шли в одних свитерах, и пот на наших спинах замерзал, превращаясь в иней.

Впереди было самое трудное. Впереди было то, о чем лучше было не думать. Тут Панин остановил меня.

У него было широкое квадратное лицо, грубый голос, мускулистые, сильные плечи. Он остановил меня и молча снял заплечный мешок. Он вынул из него другой мешок, маленький, прорезиненный, — тот, в котором лежали документы и фото, и протянул его мне.

— На всякий случай, — сказал он, — если я не дойду.

И я страшно закричал на него.

Я закричал на него, хотя в рейде говорят шепотом, хотя мы были в двух шагах от того места, о котором пока лучше было не думать. Я сказал, что убью его, и он посмотрел на меня, чуть подняв тяжелые веки. Он был в отчаянии. Но я бросил ему в лицо мешок с документами, и он сказал, что дойдет.

«Лощина нервов» — вот как называлось то место, которое мы должны пройти на обратном пути. Так назвала это место война. Пять километров мы должны были пройти по тропе, которая просматривалась противником во всю длину вдоль крутых продолговатых сопок. У нас не было сил, чтобы обойти ее. Дождь погнал нас на эту тропу.

Я сказал: «У нас не было сил». Но силы явились, когда мы упали на землю и поползли по этой тропе. Было раннее утро, или день, или вечер. Был дождь. Враги могли убить нас просто камнями. Но они открыли огонь.

Мы прошли — они поздно заметили нас. Отстреливаясь, мы поднялись на середине тропы. Панин убил пулеметчика, и мы побежали. Я услышал крик и сам закричал, не помню — от бешенства или от обиды. Еще тридцать, двадцать, десять шагов. Вася упал.

Я поднял его, он был ранен. Он бился на земле, когда я поднимал его.

Враги не преследовали нас, до базы осталось не больше трех километров. Мы прошли. Но Вася снова лег, когда мы прошли, и я понял, что он больше не встанет. Мы положили его на плащ-палатку и понесли, но дождь в одну минуту наполнил ее, и вместе с Васей мы потащили много дождя, тяжелого дождя, который по-прежнему шел рядом с нами. Он отставал от нас и снова шел по пятам — ровный дождь с однообразным шумом. Я приказал Панину идти вперед, а сам остался с Васей. Я устроил его под каменным выступом, чтобы он отдохнул от дождя. Очень трудно было сидеть рядом с ним, не спать и видеть, как он замерзает. Он простился со мной, и я обещал ему, когда наши возьмут П. найти его мать и передать ей его часы и привет. Он сказал:

— Хорошо, что не там...

Он был рад, что умирает в своей стране, а не в стране туманной Похьелы. Мы пожали руки и простились, как друзья, как разведчики перед долгой разлукой. Он умер, а через час меня подобрали, — Панин добрался до базы. Дождь перестал. Проглянуло солнце.

Нужно было спешить, и я, полумертвый, полусонный, доложил начальнику разведки о результатах нашего рейда. Мы ничего не сделали — только донесли до своих правду, которую узнали. Десант морской пехоты на А. — его бы не было, если бы не донесли ее до своих. Налет на автобазу в Т. — кто знает, быть может, командование не решилось бы на него, если бы борьба с большим дождем не кончилась нашей победой. На прошлой неделе транспорт с фа-

шистскими солдатами пошел ко дну вблизи одного из норвежских фиордов — он бы дошел, если бы мы не дошли.

Это простая история о том, как в конце концов проходит даже самый большой дождь на земле».

Рассказ четвертый

«Мы добрые ребята — пятнадцать добрых ребят из разведотряда. Мы ищем правду в лесу и в горах — везде, куда нас пошлет начальник штаба.

Я стал искать ее, когда мне было шестнадцать лет. Тогда я был в Финляндии, на работе. Один человек, по имени Ахонен, выдал меня. Он донес на меня, и четыре года я просидел в тюрьме. Это было однообразно. Иногда я думал об Ахонене. Мне хотелось, чтобы он был жив и здоров. Мне хотелось самому убить его — немного поговорить и убить. Когда-то он был моим другом, и я подарил ему часы с надписью: «Муисто» — «На память». После войны с белофиннами меня обменяли, и я вернулся домой.

Началась Великая Отечественная война, и было то, о чем я рассказал вам, и еще многое, о чем когда-нибудь расскажу. Но вот — это было совсем недавно, в июле, — мне было приказано на два месяца отправиться в глубокий тыл противника, чтобы выполнить одно задание, о котором я, конечно, пока не могу говорить. Мне дали два месяца, потому что это было очень интересное задание, интересная работа. Я взял только трех человек: радиста, подрывника и еще одного парня, который лучше всех в отряде умел снимать часовых.

Мы шли трое суток и на шестьдесят километров обогнули передний край. Это было проклятое место:

два озера, между ними тропинка, и все открыто, и по берегу ходят туда и назад патрули.

Три часа мы наблюдали за этой тропинкой. Потом прошли по ней. Конечно, мы шли задом, то есть спиной вперед, чтобы финны подумали, что мы прошли в обратном направлении. Мы шли задом, высоко поднимая ноги, и это было смешно. Но это было не очень смешно, потому что все кругом было минировано, и была ночь, а каждую минуту мы могли взлететь на воздух, как беспомощные, слепые кроты.

Мы прошли. К утру мы были далеко за линией фронта и устроили привал в лесу. Радист задремал, я стал будить его, потому что нужно было сообщить в штаб наши координаты. Я будил его и вдруг увидел двух часовых, которые шли прямо на нас. Но это были не часовые. Это был офицер и его связной — маленький офицер и высокий рыжий связной, оба с автоматами и ножами.

Конечно, мы могли убить их. Но зачем? Нам нужно было идти еще далеко, далеко! Как тихий ветер, мы должны были пройти одну губернию, потом другую — ни следа, легче пуха.

Они не видели нас, они подходили все ближе. Первым шел офицер. Вот он лениво вынул портсигар, зевнул... И я узнал его. Это был Ахонен. Я не видел его шесть лет, он очень изменился. Но если бы прошло не шесть, а трижды шесть и еще раз трижды, я бы узнал его.

— Ножом, — так сказал я радисту. Я не сказал, а показал руками: зажать рот — и ножом.

Он понял и кивнул головой.

Это было сделано очень быстро. Радист вскочил, ударил солдата ножом и вместе с ним повалился на

землю. А мы схватили Ахонена и, как у маленького мальчика, отняли у него автомат и нож. И вот он сидит спиной к дереву, бледный и старый, как старая кукла. Он молчал — значит, финны были далеко.

— Здравствуй, Ахонен! — сказал я ему. — Смотри-ка, да ты уже старший лейтенант. Молодец, честное слово!

Он молча смотрел. Потом сказал:

— Кто такой? Я тебя не знаю.

Мы когда-то встречались, — отвечал я. И ты меня хорошо угостил. Приятно встретить старого друга.

— Но я тебя не помню.

— Это ничего. Зато я тебя помню.

Мы могли взять его: старший лейтенант — хороший контрольный пленный. Но у нас было другое задание, о котором я, к сожалению, ничего не могу рассказать.

— Теперь ты узнал меня, Ахонен? — спросил я, когда он немного очнулся и попросил закурить, и я дал ему закурить.

Он кивнул — значит узнал. Это было приятно. Я обыскал его и нашел часы с надписью: «Муисто» — «На память».

— Хорошо ли шли эти часы, Ахонен? — спросил я его. — Наверно, хорошо, ведь это был подарок от чистого сердца.

Пора было уходить. У нас было другое задание, и я мог убить его, не нарушая приказа. Потом мы зарыли его и сровняли место — кустарник, мох и трава — все как было со дня сотворения мира. Как тихий ветер, мы должны были пройти одну губернию и другую — ни следа, легче пуха.

Три недели мы провели в тылу противника и сделали то, что нам приказал начальник штаба. Мы нашли правду, хотя финны запрятали ее далеко, очень далеко.

На обратном пути я был ранен, и товарищи несли меня на плечах пятнадцать километров и ругали меня, когда я хотел застрелиться. Они любили меня. И я любил их. Мы — разведчики, нам нельзя иначе».

* * *

Политрук рассказывает очень спокойно. Лишь время от времени легкое волнение пробегает по лицу, бледный нежный румянец окрашивает щеки, и давно забытый образ стремительного тонкого мальчика из Ново-Сиверской возникает передо мной. Это он — я уже давно не сомневаюсь в этом.

— Я когда-то встречался с вами, — говорю я ему. — Вы жили на Ново-Сиверской, не правда ли?

Он удивился.

— Да. Но это было очень давно.

— Очень давно. Вам было, наверно, пятнадцать лет. Но вы и тогда воевали.

Он смеется. Тонкие морщинки сбегают к серым внимательным глазам — глазам, видевшим так много. Человек войны сидит передо мной, человек мести и правды. «Мы — разведчики, мы ищем правду». Другая, высокая правда встает за этими словами — та, во имя которой взялся за оружие весь наш народ, от мала до велика.

— Покажите часы!

Улыбаясь, он достает из кармана часы. Он открывает крышку, и я читаю:

«Муисто» — «На память».



Тициан

Среди моряков, с которыми я познакомился на Северном флоте, меня особенно заинтересовал капитан-лейтенант Гурамишвили. Мы стали встречаться. Командуя дивизионом сторожевиков, он был, разумеется, очень занят. Но грузин всегда найдет время для друга.

По вечерам мы сидели в его маленькой каюте, разговаривали и курили. Иногда мы молчали и ку-

рили — это тоже было приятно. Он нравился мне — в нем была любезность, кажущаяся теперь слегка старомодной. Спокойно пыхтя своей трубочкой, он рассказывал невероятные истории, которые до войны могли только присниться.

Впервые я видел человека, который так тонко понимал войну. Он познакомился с нею на суше и на море, в Пинских болотах и в горах Заполярья. Он говорил о ней точно, бесстрастно, вполне откровенно.

— Жизнь стоит ровно столько, сколько она стоит в этой борьбе, — однажды сказал он мне.— Я иногда напоминаю себе об этом, когда приходится волноваться.

Он был человеком войны в полном значении этого слова. Казалось, он не желал даже и думать о том, что будет делать после победы, которой были отданы все его силы. Как-то я спросил его об этом и прибавил, что это кажется мне вполне естественным: люди, держащие в руках оружие, ежедневно, ежечасно глядящие в лицо смерти, не думают о будущем. Нет ни времени, ни охоты.

— Вы ошибаетесь, — ответил он. — Думают, и даже очень. Что значит будущее? У каждого свои надежды и планы. Но для всех это победа, возвращение домой, отдых, новая жизнь. Будущее будет прекрасным, — с волнением добавил он. — Не может быть иначе после всего, что испытал народ. Он знает это, и он заботится о будущем, может быть, инстинктивно. Хотите, я расскажу вам одну историю? Судите сами — прав я или нет...

Это было весной тысяча девятьсот сорок второго года. Мы дрались на суше, обороняя П., старинный городок с дикими садами, с перепутанными улочка-



К стр. 141.

ми, усыпанными в эти дни розовато-белым нежным цветом черешни. По одной из этих улочек, Нижне-Замковой, шла линия фронта. Среди развалин древней крепости времен Стефана Батория на восточной окраине был мой КП — я командовал отрядом. И вот однажды, под утро, когда, еще не очнувшись от короткого тревожного сна, я сидел над картой, отмечая крестиками дома, из которых были выбиты немцы, ко мне привели маленького старичка в широкополой шляпе.

Седой, бледный, в длинном, засыпанном штукатуркой пальто, небритый, он произвел на меня впечатление полусумасшедшего человека. Но это было далеко не так. Напротив, очень толково он объяснил мне, кто он такой, и дело, «по которому, — вежливо сказал он, — я осмелился вас беспокоить».

Это был заведующий городским музеем в П., кстати, очень хороший, о котором я слышал задолго до войны.

— Моя фамилия Перчихин, — сказал он, — и я являюсь потомком тех купцов Перчихиных, в древнем здании которых и основан музей.

Отрекомендовавшись таким образом, он стал излагать свое дело.

— В музее, — объяснил он, — осталось немало ценных произведений искусства. Но среди них есть один бесподобный шедевр, который необходимо вывезти, потому что история не простит нам, если он попадет в руки варваров, каковыми являются немцы.

Я спросил, что это за шедевр, и он ответил, что имеет в виду картину «Пробуждение весны» Тициана.

Тициан в П.! Я уже собрался было вежливо выпроводить этого потомка купцов Перчихиных. Но он остановил меня.

— Вам кажется маловероятным, — сказал он, — что картина Тициана находится в П., но П., как известно, лежит недалеко от старой границы. В тысяча девятьсот восемнадцатом году, когда напуганная буржуазия бежала в капиталистические страны, художественные ценности, которые она вывозила, отбирались на границе и передавались в городской музей. Разумеется, на Тициана претендовал Ленинград. Но я запротестовал, и покойный Луначарский присоединился ко мне, выразив свое мнение в известных словах: «Маленькие города имеют право на большое искусство».

Представьте себе обстановку, в которой происходил этот разговор: немцы уже начали свой методический обстрел из танков, на этот раз подошедших к нам очень близко, комья земли, осколки камней залетали в блиндаж, а маленький гриб в длиннополом пальто, цитируя древних и новых авторов, невозмутимо рассказывал о Тициане.

Я задумался. В конце концов здесь не было ничего невозможного. Как раз накануне наш врач просил меня послать кого-нибудь за медикаментами, которые, как и Тициан, остались у немцев и в которых мы нуждались не меньше, чем в Тициане. Вот бы и взять разом — медикаменты и Тициана!

Я вызвал лейтенанта Норкина из разведотряда. Я знал его еще по Ханко. Он был ленинградец из училища Фрунзе — черный, маленького роста, на вид комнатный мальчик, а на деле лихой и остроумный разведчик. Кстати, он отлично рисовал — кто же

еще должен был выручить из беды бессмертного Тициана?

Ночью, прихватив заведующего музеем, который решительно отказался сменить на шлем свою широкополую шляпу, лейтенант отправился за линию фронта на трофейной машине. К утру он вернулся слегка озадаченный. Он привез и медикаменты и Тициана. Но заведующий музеем, к сожалению, остался в П. навсегда.

— Картина оказалась у него на дому, — доложил лейтенант, — и мы подъехали и взяли ее. Но он в это время стал таскать еще какое-то свое барахло, и его хлопнули. Назад пришлось возвращаться с боем.

У меня был прекрасный немецкий пистолет, я снял его и отдал лейтенанту. Пластинку с надписью «За образцовое выполнение боевого задания» мы с ним через полгода заказали в Москве.

Свернутое трубкой большое полотно лежало в машине среди бинтов, спирта, ваты и пакетов стрептоцида. Мы развернули его — и ахнули. Черт знает, как это было хорошо: в саду, под цветущими яблонями, стояли большие столы, на которых лежали груды мяса, хлеба и битой птицы. Крестьяне и крестьянки водили хоровод и пели, веселые, потные, здоровые, в праздничных, разноцветных одеждах. В стороне, у бочонка, окруженного факелами, солдат в огромных ботфортах пил вино, и красная струя лилась на его кожаный мундир. Фонари висели на деревьях. Это был сельский бал, праздник весны — великолепная вещь, от которой сразу веселее становилось на сердце. Так и хотелось замешаться в эту толпу, танцевать и пить из бочки вино, закусывая ломтем хлеба и головкой лука.

В конце мая мы оставили П. Уходя, мы, как говорится, «дали пить» немцам — недаром в своих приказах командир корпуса генерал Зегржт обещал за каждого убитого моряка недельный, а за живого — двухнедельный отпуск. Нужно было пробиваться к своим через Березанские леса, Борщевские болота.

Не стану подробно рассказывать об этом походе, о нем в свое время писали в «Красной звезде» и других газетах. Мы прошли с боями более тысячи километров. Хлеба не было, мы коптили конину на кострах. Ели и сырую, когда нельзя было разводить костры. Лес, к сожалению, был еще пустой — ни грибов, ни ягод. Но вернемся к Тициану.

Это был только кусок полотна, который был нам, кажется, совершенно не нужен. Его нельзя было съесть, из него нельзя было стрелять. Пока у нас были лошади, Тициана подвязывали к седлу. Мы съели лошадей, и теперь приходилось таскать его на руках — дьявольски неудобно. Ребята ругались. А что, если просто бросить в лесу это большое тяжелое полотно, на котором были нарисованы какие-то танцующие люди?

Но вот однажды лейтенант Норкин развернул картину и показал ее краснофлотцам. Что было! Мой отряд состоял из простых ребят, едва ли кто-нибудь из них прежде слышал о Тициане. Да и не до искусства было нам в эти дни! Но точно свет упал на суровые, похудевшие лица. Все, кажется, исчезло — голод, грязь, смертельная усталость, опасность, притаившаяся за каждым кустом. Перед нами была прекрасная жизнь с ее здоровьем и счастьем, которыми были полны эти счастливые танцующие люди.

Совершенно ясно, что они были за нас и за нас был художник, нарисовавший этого смешного усатого солдата, который пил вино, проливая его на мундир, и чудных девушек, водивших хоровод, и великолепную битую птицу, которую мы еще будем есть, каким бы это ни казалось чудом.

Мы еще будем есть ее, черт возьми! И будем пить вино и плясать под яблонями, на которых висят фонари. В грязных боевых машинах мы проедем по улицам Москвы, и девушки, не хуже тех, что нарисовал художник, будут встречать нас с цветами, и повсюду, куда ни кинешь взгляд, будут цветы и цветы. Под простреленными знаменами мы отдадим командующему последний рапорт: «Война кончена, мы победили!»

Я, кажется, слегка ударился в поэзию. Но это было, уверяю вас! Не сон, не видение предстало перед глазами усталого бойца на привале, в дремучем лесу, после двадцатипятикилометрового голодного похода, — нет, именно эта мысль о будущем, реальная, как боевой приказ, который нужно выполнить, как бы это ни было трудно.

Это было тяжелое время, немцы преследовали нас, не раз пытались окружить, устраивали засады. Мы еще не связались с партизанами — следовательно, отчаянно голодали. В отряде были раненые, мы тащили их, чуть не падая от усталости и истощения. Но уже никому не приходило в голову избавиться от неудобной тяжелой трубки полотна, которую к тому же пришлось завернуть в одну из наших немногих плащ-палаток. Теперь, наряжая на ночь караул, мы ставили часового к Тициану. Он был нашим знаменем, и мы берегли его, как знамя.

Я сказал, что нам было трудно. Но, вероятно, нам было бы еще труднее, если бы с нами не было этой картины. Однажды, переправляясь через Десну, мы чуть не потеряли ее. Краснофлотец, которому было поручено захватить Тициана, был убит, а картина осталась на левом берегу, в то время как отряд был уже на правом. Я вызвал охотника, и трое ребят под командой лейтенанта Норкина вернулись за картиной.

Без сомнения, они шли на верную смерть — было уже совершенно светло, а мы переправлялись ночью. Но черта с два! Оставить фрицам этого усатого солдата в кожаном мундире, этих здоровых танцующих девок, битую птицу и вообще всю эту прекрасную богатую жизнь? Подарить фашистам наше будущее, которое так великолепно было изображено на этой картине? Как бы не так!

И вот четыре человека под прикрытием слабого огня на дырявой лодчонке переправились через реку и ударили на немцев в упор. Это и был десант — как понимали это слово наши ребята!

Через два часа они вернулись с картиной. Правда, она была прострелена. Пуля попала в солдата, в руку, которой он подносил к губам кружку с вином, потом в одну девушку и другие места, потому что полотно, как я сказал, было свернуто трубкой. Но лейтенант, который знал толк в этом деле, сказал, что в Москве найдутся мастера и все будет совершенно так же, как прежде.

— Называется реставрация, — объяснил он, — и я вам ручаюсь, товарищи, что впоследствии вы даже не найдете, где были дырки.

Осенью мы вышли к своим, недалеко от Тулы. Мы были в лаптях, в портянках из попоны, бородатые,

и я, между прочим, вот в этих кожаных брюках. В них я начал войну, в них и кончу. Последний немец — если к тому времени останется на земле хоть один немец — еще увидит меня в этих брюках на улицах Берлина.

— А Тициан? — спросил я, когда капитан-лейтенант кончил свой рассказ.

— Мы привезли его в Москву,—отвечал он, — и целый взвод музейных работников явился, чтобы переправить его в безопасное место. Кстати, этим взводом командовал старичок, напомнивший мне беднягу Перчихина — такой же гриб в широкополой шляпе. Он заплакал, увидев картину, и сказал мне: «Капитан, вы совершили великое дело». Кстати, у меня где-то сохранилось фото. Прежде чем сдать Тициана в музей, мы с ним снялись. На память.

Он нашел фото и показал мне его: моряки, держа руку под козырек, стояли под Тицианом. Это был салют прекрасному будущему, изображенному на простреленной, как боевое знамя, картине.



Русский мальчик

Я был в гостях у моего друга, капитан-лейтенанта Гурамишвили. Он пригласил меня на сторожевик, недавно вернувшийся из боевого похода. Мы стали просматривать наградные листы, и я обратил внимание, что среди представленных к орденам очень много молодых людей двадцать первого и двадцать второго года рождения.

Командуя отрядом морской пехоты, Гурамишвили с боями прошел по тылам противника более тысячи километров. Знаменитый поход! Это был стройный человек, среднего роста, с седыми висками. Удивительная сдержанность была видна во всем, но искры вдруг загорались и гасли в черных глазах, и становились видны белки, желтоватые, как у тигра. Он напоминал мне известные стихи Баратынского:

Так ярый ток, оледенев,
Над бездною висит,
Утратя прежний гордый рев,
Храня движенья вид.

— Помнится, вы задавались вопросом, — сказал он, когда, перебирая наградные листы, мы остановились на молодом командире «БЧ-5», отлично показавшем себя во время последнего похода, — о том, кто же опишет эту войну, неожиданную для самого богатого воображения? Вот эти люди, наша молодежь. Уверяю вас, что будущий Лев Толстой сейчас дерется где-нибудь под Сталинградом. О, эти русские мальчики! Кто это сказал: «Дайте русскому мальчику карту звездного неба, и на другой день он вернет ее вам исправленной»?

Я спросил, почему он называет мальчиком двадцатилетнего командира «БЧ-5», который уже три года служит на флоте.

— Ну, конечно, мальчик, — возразил Гурамишвили. — Во всяком случае, для нас с вами. Впрочем, когда я говорил о будущем Льве Толстом, я думал о мальчике пятнадцати лет. Я нашел его в селе Камень, в Брянских лесах, а потерял под Тулой. Хотите расскажу?

— Еще бы!

— Обычно мы обходили села, — так начал капитан-лейтенант. — Слух о двухстах моряках, которые жгут мосты, рвут провода, которые под Ракитной разбили батальон отборной немецкой пехоты, разумеется, шел далеко впереди отряда. Но недалеко от Камня мы встретили партизан сахарного завода, и они сказали нам, что в этом селе староста из бывших краснофлотцев. Черт возьми! Мы давно уже выпили спирт, который вместе с медикаментами вывезли из Пинска под самым носом у немцев, съели всех лошадей. Мы были голодны, как двести голодных чертей! Нет, решено. И мы двинулись к селу без размышлений.

Мы вошли в полной темноте, в полной тишине, можно сказать, на цыпочках — немцы были близко! Староста встретил нас у околицы, развел по дворам, и через полчаса мы уже ели великолепную картошку с бараньим салом.

Меня староста пригласил к себе, и я впервые с 22 июня 1941 года улегся на широкую чудную постель, впрочем не раздеваясь. Не знаю, долго ли я спал. Не то разговор, не то пение разбудило меня. Я вскочил, схватившись за наган.

Уже светало. Мой хозяин стоял в одном белье, наклонившись над лавкой, а на лавке лежал с открытыми глазами мальчик лет пятнадцати, черный, худенький, похожий на какую-то заморскую птицу. Мальчик читал стихи. Я прислушался. Это были стихи Лермонтова.

В полдневный жар в долине Дагестана...

— Да что ты? Худо тебе? — повторил хозяин. — Эй, малый!

— Кто такой? — спросил я.

— Да мальчишка один, — с досадой объяснил хозяин, — прямо беда, не знаю, что и делать. Он из соседнего села. Немцы у него на глазах мать повесили. Такая хорошая женщина была. Ее по всей округе знали. Прибежал сам не свой. Вот теперь все стихи читает.

Я подсел к мальчику.

— Как тебя зовут?

— Вова, — очень быстро и охотно сказал мальчик. — Я вас разбудил?

— Не беда. Ты себя плохо чувствуешь, Вова?

— Нет, хорошо.

— А зачем ночью стихи читаешь?

Он помолчал.

— Так мне лучше. Не знаю, наконец сказал он. Голос дрогнул. — Вы спите, я больше не буду.

Хозяин моргнул мне, и мы вышли в сени.

— Его, когда немцы были, взаперти держали, — сказал он. — А он подойдет, бывало, к окну и вслух стихи читает. Громко, просто беда! Как нарочно. Белый весь, стоит и читает. Больной, что ли?

Признаться, в первую минуту и я подумал, что мальчик помешался от горя. Но то, что сообщил мне хозяин, убедило меня в обратном. Я знаю детей и сразу понял, почему Вова нарочно громко читал стихи, когда мимо проходили немцы. Здесь было и страстное желание настоять на своем, и отчаяние, и детски беспомощный, но смелый вызов.

— А ты сам пишешь стихи, Вова? — спросил я, вернувшись.

— Нет.

— Вот и врешь, — сказал я. — Сразу видно, что пишешь. Прочитай.

Разумеется, это были детские стихи. Но самая мысль меня поразила. Помните мальчика с голубями, которого где-то под Москвой, кажется в Верее, застрелили немцы? В стихотворении рассказывалось о том, как голубой ночью этот мальчик встает из могилы. С голубем, сидящим на левом плече, он идет навстречу германской армии через минированные поля и колючую проволоку, через рвы и бастионы. «Кто идет?» — спрашивает его немецкий солдат. И мальчик отвечает: «Месть!» — «Кто идет?» — спрашивает его другой. И он отвечает: «Совесть». — «Кто идет?» — спрашивает его третий. И он отвечает: «Мысль». В него стреляют из винтовки и пушек, самолеты пикируют на него, вокруг падают бомбы и мины. Он идет, и белый голубь сидит у него на плече.

И вот безумие охватывает германскую армию. Все говорят лишь о нем. «Вы слышали, русский мальчик с голубем на плече опять появился в 9-й дивизии?» — «Полно, лейтенант. Уверяю вас, что это детская сказка». Но он появляется в ту минуту, когда о нем говорят. Он проходит — бледный, неторопливый, с руками, скрещенными на груди, с грозным, укоряющим взглядом. «Я не убивал тебя!» — кричит солдат и падает перед ним на колени. «Я не убивал тебя!» — кричит другой. Он молчит, и они бегут от него, крича в смертельном, непреодолимом страхе. И вот приказ за приказом по дивизиям, армиям, фронту: «Не верить глупой басне о русском мальчике с голубем на плече, не говорить, не думать о нем». Но нельзя не говорить и не думать о нем, потому что это Месть, Со-

весть и Мысль... И о нем говорят, говорят без конца; а там, в вышине,

Свершается важное шествие ночи...

Что же должно было произойти в душе этого черненького худенького Вовы, чтобы из-под его детского пера появилось такое стихотворение? Заметьте при этом, что оно было написано как бы от имени всех русских мальчиков. Это был личный счет целого поколения.

На другую ночь мы покинули село Камень, и Вова Лебедев ушел с нами. Я попробовал было уговорить его остаться, но он так страстно умолял меня, так цеплялся за руки, так повторял, что зарежется, «как только мы скроемся из виду», что я, наконец, сдался. Впрочем, и староста-краснофлотец сказал, что Вове тут «живу не быть», и даже попросил меня взять его с собой.

Разумеется, у меня в ту пору не было времени, чтобы заниматься Вовой, хотя бы он и подавал надежды стать в будущем хорошим поэтом. Но он и не рассчитывал на мои заботы. Не прошло и трех дней, как он нашел свое место в отряде.

Тогда еще многое было новым для нас, немцев мы почти не знали. Прежде всего нужно было правильно поставить разведку. И вот наш маленький поэт оказался незаменимым человеком в этом трудном и рискованном деле. Прежде всего он был совсем не похож на разведчика в своей домашней ватной курточке, в барашковой, должно быть отцовской, шапке. Он был смел, догадлив и — главное — умен. Вернувшись из разведки, он каждый раз необычайно

живо рисовал нам, так сказать, социальную картину деревни.

Иногда на привалах он читал нам свои стихи или просто рассказывал их своими словами. Почти всегда это были импровизации, за две минуты до чтения он даже не знал, о чем будет читать. Страстный, с детским доверием к слушателям, он говорил — читал эти импровизации, и глаза его из-под опущенных век блестели загадочно, тускло. Я помню одну из них — о природе, которая сражается на нашей стороне, о тайном союзе рек и озер, болот и морей — всей воды на земле против насильников-немцев.

— А правда, ведь природа за нас? — наивно спросил он меня в этот вечер. — Я просто чувствую, что лес, например, за нас.

Кстати, я прекрасно знал, когда Вова сочиняет стихи. Он как бы уходил в себя, становился молчаливым, диким. Сперва мне казалось, что в эти минуты он вспоминает мать. Но нет, это было другое. Как бы тайный холод овладевал им, может быть, холод вдохновения.

Ну, что еще рассказать вам о нем? Вы интересуетесь, без сомнения, его боевыми делами? Что же, он дрался не хуже других! Под селом Хатсун немцы оцепили нас. Мы не успели занять круговую оборону, и одна небольшая группа с пулеметом осталась на фланге. Нужно было поднести к пулемету боезапас, и я послал Вову. Пройти было почти невозможно. Он прошел. Точно в шапке-невидимке, он пополз прямо на немцев — только кустарник шевельнулся здесь и там да упала с дерева засохшая ветка.

Кстати, я потом рассказал Вове сказку о шапке-невидимке, и он написал стихотворение, в котором

серьезно требовал у завхоза шапку-невидимку для лучшего разведчика отряда.

И то сказать — смерть его не брала! Однажды немецкий офицер почти в упор выстрелил в него — и промахнулся. В другой раз мы пилили сосны, чтобы завалить дорогу, по которой должен был пройти немецкий обоз, и одно дерево упало прямо на Вову. Все так и ахнули. Мы с кольями в руках бросились к дереву. И что же? Немного побледневший, с царапиной на лбу, Вова уже сидел на ветвях, весело насвистывая, как маленькая черная птица.

Мы потеряли его под Тулой. Последний раз я видел его на переправе через Быстрицу — есть такая маленькая, памятная на всю жизнь речка. Кто-то из ребят попробовал переплыть ее и сразу вернулся обратно. Вода была дьявольски холодна. На той стороне чуть виднелось какое-то строение, очевидно домик паромщика. Вова стал звать хозяина, разумеется, наудачу: «Иванэ! Иванэ!» Никакого ответа. «Петро! Эй, Петро!» Снова молчание. «Мишка!» Дверь, наконец, отворилась, слабый свет упал через щель.

— Его нет дома!

— Дяденька, — продолжал Вова, — лодку дай!

Немцы могли быть в двух шагах — и были, как это выяснилось вскоре. Но мы надеялись, что детский голос не вызовет подозрения.

— А кто таков? — кричал в ответ паромщик.

Теперь он вышел на крыльцо и стоял, длинный, с веслом в руках, освещенный сзади.

— Свой, дяденька, честное слово.

Это была рискованная игра. Мы знали, что где-то в здешних местах, ниже по Быстрице, немцы расстреляли шесть человек за то, что они перевозили наших.

Но этот старый паромщик, даже имени которого я не знаю, пригнал на нашу сторону свою дырявую лодку.

— А вы кто, партизане? — только спросил он и ахнул, узнав, что нас около двухсот человек.

Сначала все было прекрасно — только плеск весел слышался да скрип расшатанных уключин. Но вот где-то взвилась ракета, и сразу же донесся громкий, характерный шум камышей. Немцы спускались к реке...

Мы дрались до утра. Уже простился и ушел куда глаза глядят старый паромщик. Уже в последний раз, уклоняясь от пуль, пошла за нашими его дырявая лодка. Рассвело. В неярком утреннем свете, как через марлю, были видны плоский, поросший камышами берег и маленькая группа краснофлотцев, грузившая на лодку пулемет. Они отчалили, и в эту минуту я увидел бегущего по берегу Вову. Не понимаю, почему он оказался так далеко от наших. Кто-то из ребят потом говорил, что он пошел искать сумку, в которой всегда носил свои стихи и книги. И точно, мне показалось, что он бежит по берегу с сумкой в руках.

— Вова! Ребята, Вова! — закричал я.

На лодке заметили его и мигом начали круто загребать назад.

— Не нужно, ребята, уйду! — закричал Вова.

Лодка все шла к нему.

— Не нужно, я говорю! — повелительно повторял он.

Черный на белой отмели, он был прекрасной мишенью. Зигзагами он пробежал вдоль берега метров сорок и вдруг упал на колени. Ох, как зашлось, рванулось у меня в сердце в эту минуту!

— Убит! — сказал я.
— Убит... — повторили за мной моряки.
Но нет! Встал наш Вова. Он встал, и мы увидели шест у него в руках. Не знаю, что это было — длинный гибкий шест, должно быть ива. Разбежавшись, он у самого берега далеко закинул шест и, опершись на него, легко взлетел над водой.
Дорогой мой, что это было! Двести глоток закричали сразу, и оглушительное матросское «ура», от которого заломило в ушах, покатилось далеко-далеко.
— Ура! Вова! Молодец! Милый!
Вот и все. Высокая старая ива скрыла его от нас, — очевидно, не надеясь долететь до берега, он рассчитывал ухватиться за эту иву, — и больше ни один человек из нашего отряда не видел Вову Лебедева и не слышал о нем.
Мы долго ждали его — вероятно, это было ошибкой. Уходя, я послал за ним двух краснофлотцев, и к вечеру, усталые и расстроенные, они вернулись в отряд. Они не нашли его. Утонул ли он, заблудился ли, или, раненный на лету, остался висеть на ветвях ивы, — не знаю.
Ребята клялись, что они обшарили каждый куст, каждую ветку. Они нашли бы его, если бы он был убит или ранен. Как будто, взлетев над водой, он, как в сказке, превратился в настоящую птицу.



Трое

Это были трое простых советских людей, о которых можно было только сказать, что они дружны между собою и знают свое дело. Впрочем, дружны были только Шульга и Русаков, а третий — штурман Жилин — лишь недавно, накануне войны, появился в эскадрилье. Над ним подсмеивались, даже

не над ним, а над какой-то его столетней тетей, которая никак не могла опомниться, что он пошел в авиацию, и все просила его в письмах «летать пониже».

Впрочем, в эскадрилье все немного подсмеивались друг над другом и больше всех над Шульгой и Русаковым. Шульга был длинный, носатый и очень любил петь, особенно в полете. Русаков — маленький, смешливый. Между ними не было ни малейшего — ни внутреннего, ни внешнего — сходства. Может быть, именно поэтому на них постоянно рисовали карикатуры, называли «Патом и Паташоном», сочиняли стишки. Это никому не мешало уважать их так, как уважают положительных, бывалых людей.

И вот в один прекрасный день — будем пока называть его именно так — эти трое людей на хорошем советском бомбардировщике отправились туда, куда им было приказано. То, что им было приказано, они сделали на «отлично»: от так называемого вражеского объекта остались одни обуглившиеся обломки.

Набрав высоту, самолет возвращался на базу. Дела шли так хорошо, что Шульга даже запел свою любимую: «Ты постой, постой, красавица моя».

И вдруг слева появились немецкие самолеты. Их было не так много — всего два истребителя, приближавшихся с такой уверенностью, как будто летчики были заранее уверены в победе. Только два «мессершмитта». Но, как известно, бомбардировщик по самой своей природе не предназначен для борьбы в воздухе. У него другая, более серьезная специальность. Два истребителя против одного бомбардировщика — неравные силы. Но Шульга решил принять бой.

Трудно сказать, в какую из первых трех секунд было принято решение, — вероятно, в первую, потому что во вторую или третью он уже убедился в том, что «мессершмитты» стараются зайти ему в хвост.

Шульга был не такой человек, чтобы позволить «заходить себе в хвост». Они зашли раз — и не вышло! Зашли еще раз — и снова не вышло. Русаков, умело поймав цель, нажал гашетку пулемета. Надо полагать, что один из «мессершмиттов» получил то, что ему полагалось, потому что он вдруг вспыхнул и рухнул вниз. У самой поверхности моря он сделал еще один отчаянный непроизвольный прыжок и исчез под водой.

Потом они занялись вторым «мессершмиттом», который оказался куда увертливее и злее, чем первый.

Не выдержав огня, он сперва отошел, потом опять бросился в атаку. Хотел ли он отомстить, или предчувствие близкого конца придало ему смелости, но на этот раз он атаковал наш самолет более удачно. Правая плоскость была повреждена, еще через несколько минут вышло из строя радио, заклинило левый мотор.

«Мессершмитту» удалось зайти в хвост, и наш самолет стал терять высоту.

Выход был только один — открыть огонь через стабилизатор своего самолета, то есть, попросту говоря, пробить свой собственный хвост.

Это был, разумеется, рискованный выход, потому что самолеты, как известно, не любят летать без хвоста. Но Русаков сделал это — и второй «мессершмитт» свалился на крыло, загорелся и стал, не торопясь, падать в море. Он падал именно не торопясь,

должно быть, не хотелось, — так что, несмотря на дым, штурман Петя Жилин успел ясно различить его желтую голову и кресты на фюзеляже. Скатертью дорога!

Теперь пора было подумать и о возвращении домой.

История, которая должна стать известной всем — и нашим друзьям и нашим врагам, — начинается именно с этой минуты.

Самолет был продырявлен пулями во всех направлениях. От хвоста осталось одно воспоминание. Четверть правой плоскости отвалилась. Внизу было море, и до родных берегов миль сто, а может, и больше. Самолет не слушался управления и с каждым мгновением терял высоту.

— Двести пятьдесят метров! — доложил Жилин.

Шульга кивнул головой и повел самолет дальше.

— Двести метров!

Самолет шел вперед.

— Сто семьдесят метров! Семьдесят метров! Двадцать...

Очевидно, это был конец. Шульга выключил мотор, и машина тяжело села на воду.

Нельзя сказать, чтобы она особенно долго держалась на воде. Иначе говоря, она утонула ровно через полторы минуты. Но за эти полторы минуты летчики успели выброситься, захватив с собой резиновую шлюпку.

Одни в море, далеко от берега, после долгого утомительного смертельного боя, когда каждая секунда решала вопрос — умереть или жить, лишившись всего, что давало малейшую надежду на спасение, они не растерялись и не пали духом.

Шульга приказал развернуть шлюпку. Это было бы сделано с той быстротой, какая только возможна для трех людей, плавающих в комбинезонах вокруг большого куска резины. Но штурман доложил, что утонул надувной шланг и унесло весла.

— Надувать ртом!

В комбинезонах больше нельзя было держаться на воде — они сбросили их. Сбросили обувь. Поддерживая друг друга, они по очереди надували шлюпку, стараясь набрать как можно больше воздуха в легкие и время от времени ложась на спину, чтобы привести в порядок сердце, готовое выскочить из груди от напряжения.

Несмотря на все усилия, они все же погибли бы, если бы не удалось развернуть шлюпку до темноты. Но когда начало темнеть — очень быстро, как всегда на юге, — шлюпка была надута. Они влезли в нее и легли.

В каком направлении грести? Этот вопрос был решен очень быстро. Штурман определился по звездам. Но чем грести? Ответ был простой: руками.

Всю ночь они гребли, и это было мучительно трудно, потому что в надувной шлюпке — глубокие сиденья и грести руками сидя было почти невозможно. Гребли, лежа на бортах, с трудом сохраняя равновесие. Гребли, обливаясь потом, хотя ночью стало прохладно. Гребли голодные и усталые, по локоть не чувствуя онемевших, воспаленных рук.

Вероятно, они прошли за ночь три или четыре мили. Полная, ясная луна стояла над морем, и одно время они шли вдоль продольной золотой полосы; почему-то казалось, что по этой просторной лунной дороге они скорее доберутся до родных берегов.

Рассматривая раненную во время боя и разъеденную морской солью руку, Жилин пробормотал:

— Ну, товарищи, мы это Гитлеру припомним.

Русаков никак не мог приспособиться грести лежа — все скатывался в воду. Шульга, любивший изречения, сказал ему назидательно:

— Вода мягка, пока вы сильно об нее не ударитесь.

Это была ночь, когда они еще шутили.

Потом наступил день — тихий, жаркий, безветренный день, и они поняли, что впереди еще много таких же тихих дней при ясном небе и полном штиле на море. В общем еще можно было жить, если бы не томила жажда. Но нужно было жить — несмотря на жажду, голод и усталость, которая была уже близка к самой смерти. Нужно было жить — и не только жить, но действовать, то есть идти вперед во что бы то ни стало!

После полудня потянул ветерок, и Жилин сейчас же предложил сделать парус. Это заняло ровно пять минут. Они сняли гимнастерки, связали их и растянули поперек шлюпки. Ветер наполнил парус, и шлюпка пошла быстрее.

Это были самые лучшие часы — от полудня до захода солнца. Есть уже почти не хотелось. Трудно было только стоять, сохраняя равновесие и стараясь поймать как можно больше ветра в самодельный парус. Они менялись. Потом стали держать парус сидя. Потом снова стоя. Но они двигались, двигались! По расчетам Жилина они прошли уже миль двадцать. Шульга еще шутил. Когда Жилин, заснув, выпустил из рук парус, он сел на его место и сказал:

— Если вы переутомлены, лучше не летайте, пока не отдохнете.

Но перед заходом солнца ветер упал.

В той жизни, которую летчики вели уже в продолжение тридцати шести часов, это было несчастье, страшнее которого ничего нельзя было представить. Ветер упал, и шлюпка остановилась.

Снова нужно было грести изъеденными морской солью, распухшими, горящими, как в огне, руками.

Жилин вдруг закрыл глаза и сказал, что он умирает. Он очень изменился за эти два дня: у него стало совсем детское лицо, с провалившимися глазами, бледное под загаром. Он сказал, что умирает, и командир накричал на него и сказал, что без его приказания никто не умрет и что «для смерти пока нет никаких оснований». Когда ночью снова подул слабый ветерок, он, стоя на коленях, один держал парус. Шлюпка двинулась вперед, и он сказал:

— Скорость — один из лучших друзей прогресса.

Он еще шутил.

Так наступил третий день — печальный день, когда стало казаться, что кончились последние силы.

Ветер окреп, и они по очереди вставали на ноги, заменяя собою парус. Держать его они были не в силах. Да он был и не нужен теперь! Ветер окреп, и шлюпка ходко пошла вперед.

Сколько раз смотрели они в заветную сторону, где их ждали друзья! Да полно, ждут ли их? Должно быть, давно считают погибшими: ведь прошло трое суток, как они покинули базу. Это было почти невозможно — представить себе, что они возвращаются, что больше не нужно вставать, шатаясь, на колени

и, закрыв глаза, думать только об одном: не упасть! Но умереть нельзя было — командир не велел.

Прошел третий день, и ветер, о котором так страстно мечтали летчики с той минуты, как гимнастерки превратились в парус, стал свежеть и свежеть. Шлюпку заливало, она могла опрокинуться, нужно было вычерпывать воду.

Именно в эту минуту Шульга увидел вдалеке тонкую полоску, похожую на аккуратный мазок кистью по голубому полю. Это могла быть земля.

А если нет? Он ничего не сказал. Но несколько погодя, когда Жилин, вычерпывая воду, упал и чуть не захлебнулся в шлюпке, он вытащил его и сказал прежним голосом, с прежним выражением:

— Перегруженный самолет подобен утопающему, который старается держать голову над водой.

Это была земля! Но до нее было еще далеко. Теперь они гребли десять минут, отдыхали час. Потом — только пять минут. Русаков предложил добраться до берега вплавь, но это была верная смерть, а командир велел жить и бороться.

Всю ночь они шли в каких-нибудь восьмидесятистах метрах от берега, и прибрежные волны то подносили их к берегу, то откатывали обратно. Лишь под утро наш разведчик, возвращаясь на свою базу, заметил шлюпку. Одновременно ее заметили с берега и уже готовились выйти на помощь. Разведчик сел на воду, подрулил к шлюпке. Через несколько минут трое летчиков были на борту самолета.

А через несколько дней они снова вылетели туда, куда им было приказано. И то, что было им приказано, снова было сделано на «отлично».



Последняя ночь

Накануне вечером комиссар вызвал Корнева и Тумика в свою каюту и заговорил об этой батарее, дальнобойной, стотридцатимиллиметровой, которая обстреливала передний край и глубину и которая всем давно надоела.

— Мы несем от нее немалые потери, — сказал он, — и, кроме того, она мешает одной задуманной операции. Нужно ее уничтожить.

Потом он спросил, что они думают о самопожертвовании, потому что иначе ее нельзя уничтожить. Он спросил не сразу, а начал сперва с подвига двадцати

восьми панфиловцев, которые отдали за Отчизну свои молодые жизни. Теперь этот вопрос стоит перед ними — Корневым и Тумиком, как лучшими разведчиками, награжденными орденами и медалями Союза.

Тумик первый сказал, что согласен.

— Можно выполнить для Отчизны, — быстро сказал он.

Корнев тоже согласился, и решено было высадиться на берег в девять часов утра. По ночам немцы пускали ракеты, хотя стоял декабрь и днем было так же темно, как и ночью.

Времени вдруг оказалось много, и можно было полежать и подумать, тем более что это, наверно, уже в последний раз, а больше, пожалуй, не придется.

Тумик воевал уже полтора года и дважды был ранен. Он был в отряде Романенко, куда брали только холостых, а женатых не брали. Он участвовал в захвате знаменитой сопки «Колпак», когда восемьдесят моряков семь часов держались против двух батальонов, и боезапас кончился, и моряки стали отбиваться камнями. С хохотом, с азартом, с песней «Синие воротнички» они выворачивали валуны и сбрасывали их на немцев. Каски в сторону, в одних бескозырках — и плевать было на эту смерть, никто ее не боялся!

Теперь дело тоже было не в смерти. Но он сказал: «Можно выполнить для Отчизны». Вот об этом ему интересно было подумать.

Прежде, до войны, он редко встречал это слово — «Отчизна». Только в книгах и то старомодных, где были еще твердые знаки и буква «ять», тоже

похожая на твердый знак, но впереди еще с ножкой. Он, хотя служил на флоте четвертый год, был еще молодой, двадцать первого года рождения. О прежней жизни, когда писали «ять», он знал от отца и немного из русской истории, которую проходили в школе.

Его отец был комиссаром полка Первой Конной. Он был награжден тремя орденами, и каждое лето к нему в Армавир приезжали усатые военные, седеющие, в длинных кавалерийских шинелях, и подолгу сидели с ним и выпивали. Они хлопали друг друга по плечу и все говорили: «Ну как, брат, а?», а потом отец звал Колю, и усачи молча рассматривали его и гадали, что из него выйдет.

Тумику стало даже смешно, так давно это было. Но, как вчера, он видел перед собой маленький дом, крыльцо с провалившейся ступенькой и отца в саду — коротко стриженного, седого, с худым носом и еще такого стройного, ловкого, когда он быстро шел навстречу гостям, опираясь на трость, в своей кубанке набекрень и со своими тремя орденами.

Когда началась война, он писал Тумику письмо: «Воюй и за себя и за меня». Но, верно, и ему пришлось воевать, когда немцы подошли к Армавиру.

Значит, Отчизна. Что же это такое — Отчизна? Ему захотелось что-нибудь придумать, какие-нибудь красивые слова — прощальное письмо друзьям или что-нибудь в этом роде. Он стал даже в уме сочинять такое письмо, но бросил — слова были обычные, которые он тысячу раз читал в газетах.

Ему хотелось красиво написать, вроде песни «Синие воротнички», чтобы ребята запомнили его слова и повторяли их в подобных случаях, когда нужно

идти на смерть за Отчизну. Но красиво не получалось...

Да, отец! А здорово было еще махнуть с отцом в Батуми, а там удрать от него в горы, в Махинджаури!

Девушка-армянка служила там на метеостанции, и он как будто случайно встречал ее каждый вечер, когда она шла записывать показания приборов. Она звала его «Никохайос» — Николай по-армянски, а он ее просто Шура. Она была тонкая, черная, с черным пушком под ушами и такая положительная, серьезная. Она все выговаривала ему за беспутство, а потом они сидели на старой каменной кладке, где была когда-то генуэзская крепость, и целовались.

Внизу были кипарисы, мандариновые рощи, поля табака и лаванды, а за ними, за невидимым берегом — море... Да, это стоило вспомнить! Тем более что теперь уже едва ли придется снова сидеть на этой каменной кладке и целоваться, пока не потемнеет в глазах.

Значит, Отчизна! А где еще было хорошо? На Казбеке. На Казбек он ходил со своим другом Мишей Рубиным, который учился вместе с ним в школе и в ФЗУ, и потом они вместе пошли во флот в тридцать девятом году по добровольному комсомольскому набору. Они брали с собой коньки на Казбек и катались по ледникам — довольно рискованная, но занятная штука! Когда становилось жарко, они катались на коньках в одних трусиках. Дома есть фотография — если цел еще дом. Потом они ночевали в ресторане «Казбек» и по ночам вели задушевные разговоры. Как будто тысяча жиз-

ней лежала впереди, и нужно было только правильно выбрать — самую лучшую, самую интересную на свете.

И они выбрали — морскую. На Рабоче-Крестьянском Военно-Морском Флоте...

Так Тумик вспомнил всю свою жизнь, самое главное, самое интересное в жизни. Отец — это был родной дом, детство и школа, та девушка Шура — это была любовь, а Миша Рубин — друг, который всегда говорил, что, может быть, и есть на свете любовь, но верно то, что на свете есть настоящая дружба навеки. Они были с ним всю войну — отец, та девушка и Миша — и были теперь, когда он лежал на своей койке под иллюминатором и слышно было, как волна, плеща, набегает на борт.

И вдруг все стало так ясно для него, что он даже присел на койке, обхватив руками колени.

«Недаром же я жил на земле, — сказал он себе. — И если смерть моя будет прекрасной, значит прекрасной была и моя жизнь: эта дружба и катание по ледникам на коньках, и эти чудные ночи в Махинджаури, и гордость за отца с его тростью и тремя орденами».

«Что смерть! Нет никакой смерти, — снова сказал он себе и сам прислушался к своим словам с восторгом и волнением. — Пускай перестану я жить на земле, останется слава, и будет знать весь народ, за что я отдал свое, что было мне дорого и мило. И скажет обо мне отец: «Не умер он, со мной до гроба». И скажут товарищи: «Это была храбрая морская душа!»

Он знал, что нужно уснуть хоть на час, но теперь, когда стало так легко на сердце, жалко было

спать, и он полежал еще немного с открытыми глазами. Он видел, как при свете огарка Корнев пишет письмо, и ему захотелось сказать Корневу, что нет для них смерти и что для них произошла эта торжественная последняя ночь, когда замер весь свет и только под легким ветром волна, плеща, набегает на борт. Но он ничего не сказал. У Корнева была жена и маленький сын. Кто знает, о чем он думал сейчас, хмуря густые черные брови.

...С первого взгляда они поняли, что нельзя заложить тол и уйти — батарея работала, и кругом было слишком много народу. Можно было только сделать, как сказал комиссар, — подорвать ее и самим подорваться. И это было легко — неподалеку от батареи штабелями лежали снаряды.

Они стали тянуть жребий, потому что достаточно было подорваться одному, а другой мог вернуться к своим. Они условились: вернется тот, кто вытащит целую спичку. И Тумик только сделал вид, что сломал спичку. Он взял целые в обе руки и сказал шепотом:

— Ну, Корнев, тащи.

У Корнева была жена и маленький сын. Кроме того, он, возможно, не так уж обдумал этот вопрос, и для него не все было ясно.

Они обнялись, поцеловались. На прощание Тумик отдал ему свою фотографию, где он был снят с автоматом лежа, прицеливаясь, — ребята говорили, что вышел отлично. И Корнев ушел.

Он был метрах в сорока от батареи, когда раздался взрыв и пламя метнулось до самого неба, осветив пустынный край — снег и темные ущелья между скал, диких скал Отчизны.



Три встречи

Бомбы были сброшены очень близко от нас, и удаляющиеся фанфары отбоя еще звучали в ушах, когда мы бежали к разбитому дому.

Ветер усилился, поднялась метель, и вдруг точно кто-то высыпал на город огромную корзину мокрого крупного снега. Он падал на книги, ринувшись с пятого этажа, где еще висел, накренясь, американский шкаф, на обломки разбитой мебели, из

которых торчало черное мокрое крыло рояля, на обои в крупных синих цветах, которыми была оклеена одна из полусохранившихся комнат. Было очень странно видеть, как снег падает прямо в комнаты и как ничем не прикрытые лежат в такую погоду прямо на земле одеяла, подушки, книги.

И вдруг — раз-два! Марширующий шаг послышался где-то близко, потом команда: «Стой!» И минуту спустя много мальчиков в серых комбинезонах, как в атаку, бросились к разбитому дому. Это был отряд комсомольцев: школьники, ремесленники, молодые рабочие, студенты.

Юноша лет шестнадцати, высокий, худой, в белой кубанке, весь в ремнях, с большим компасом на руке, командовал ими.

Они подбегали к нему и вытягивались по-военному, руку под козырек, а он стоял на груде разбитой мебели, как на капитанском мостике, и отдавал приказания. Это было как во сне — метель, мигом забросавшая разбитый дом крутящимся снегом, и эти мальчики, этот вихрь молодой энергии, вдруг вторгнувшийся в страшную картину беды и разрушения. Уже отрывали бомбоубежище, и юноша в кубанке соскочил со своего капитанского мостика и нырнул куда-то под землю. Минуту спустя он появился с маленьким, сухоньким старичком на руках, которого он нес легко, как ребенка. Шум и гулкие голоса доносились из бомбоубежища, и люди выходили бледные, мокрые до пояса вода залила подвалы. Но все были живы, только старичок, который лежал на земле, прямой, подняв кверху седую бородку, казалось, был мертв. Его засыпало известкой и щебнем, он задохся. Но юноша в белой кубанке,

казалось, не хотел согласиться с этим. Он расстегнул на старике пиджак и приложил ухо к его груди. Не знаю, уловил ли он слабое биение сердца, но, выпрямившись, он повелительно сказал кому-то: «Воды!» — и вдруг осторожно поднял старику руки. Еще раз, так же осторожно. В третий раз!

Уже давно сказали в толпе, что этот старичок — известный профессор-химик и что он отправил семью, а сам не пожелал уехать, остался в Ленинграде. Уже пришел замученный, усталый врач и сказал, что профессор сейчас умрет, а потом сказал: «А ну, попробуем!» — и сделал укол, потом второй и третий. Уже соседи увели к себе жителей из разбитого дома, милиция выставила охрану, и только одни комсомольцы еще носились среди рухнувших перекрытий, а юноша в белой кубанке все не оставлял старика. Он давно сбросил кубанку, расстегнул ворот. Пот градом катился с него, он работал со страстью, у него было бледное, упрямое, злое лицо. Казалось, он боролся с самой смертью, и она то отступала перед этим бешенством молодости, то приближалась. И вдруг как будто легкое движение показалось в мертвом, неподвижном лице. Веки дрогнули. Врач, до сих пор понуро сидевший на сломанном мокром диване, бросился к старику.

Так я впервые увидел Петю Куркова. Тогда я еще ничего не знал о нем. Но надолго остался в памяти образ юноши, не согласившегося со смертью и переспорившего ее со всем упрямством молодой силы.

* * *

Прошел месяц, и мы встретились снова. Это были дни, когда по всем магистралям страны тянулись на

восток гигантские, разобранные на части цехи военных заводов. Целый день мы простояли на какой-то маленькой станции, мимо нас все шли и шли станки, и казалось: чтобы собрать и пустить их, нужны годы и годы. В поисках воды я остановился подле одной из теплушек. Дверь была отодвинута, светлый четырехугольник падал на шпалы. В теплушке было шумно, кто-то спорил, потом засмеялся, и вдруг высокий голос запел песню:

До свиданья, девушки, напишите, девушки,
Как вас встретил Дальний Восток.

Не знаю почему, но та ночь в Ленинграде вдруг представилась мне. На станции было темно и тихо, небо — беззвездное, и сама война, казалось, скрылась в этой темноте, и вместе с тем она была во всем: и в этом чистом молодом голосе и в слабом мерцании зеленых и красных огней на пути. Песня умолкла, кто-то выпрыгнул из теплушки, белая кубанка мелькнула. Это был Петя. Мы разговорились, и через час я уже знал всю его историю — необыкновенную и в то же время очень простую.

В тринадцать лет он остался сиротой: отец-летчик погиб во время авиационной катастрофы. Смерть отца, которого он обожал, была для него тяжелым ударом.

Он поступил на завод. Сперва работал подручным слесаря, потом получил разряд. Хотел стать летчиком, как отец, и перед войной стал учиться по ночам, чтобы поступить в авиашколу.

Он рассказывал — и сколько же молодой прелести было в этом рассказе, и в том, как, упоминая об отце, он начинал волноваться и нарочно беззабот-

но насвистывал что-то, и во всей его тонкой фигуре, перетянутой ремнями, с большим компасом на руке, в кубанке, лихо надвинутой на затылок!

Так мы ходили и разговаривали, и уже начинало светать, когда детский голос сказал где-то очень близко от нас:

— Мамочка!

Обойдя состав, мы увидели в слабом свете утра маленькую девочку, стоявшую на рельсах. Это было в полукилометре от станции, здесь было много снегу, и вокруг пустынно и чисто, и девочка лет трех, в меховой шапочке, с муфточкой стояла на рельсах и не плакала, только время от времени говорила негромко: «Мамочка...»

— А где твоя мама? — спросил, присев подле нее на корточки, Петя.

Девочка замолчала. Потом она сказала, что ее зовут Люся Воронцова, и адрес — набережная Красного флота, дом 23, квартира 4. Но далеко была набережная Красного флота.

Через несколько минут мы были с нею у военного коменданта. Проезжие командиры в грязных фронтовых шинелях, с обветренными, грубыми от усталости лицами окружили ее, и им она тоже сказала, как ее зовут, и назвала адрес.

Наши поезда простояли на станции еще часов шесть, мой ушел первым, и все эти шесть часов мы искали Люсину маму. Комендант предложил сдать девочку в комиссию районо. Мы пошли в комиссию, но Люся так громко плакала, увидев сидевшую там толстую тетю, а тетя таким голосом сказала ей: «Не реветь!», что Петя вдруг подхватил девочку и вышел. Я вышел за ним.

Потом мы накормили Люсю, она быстро съела шоколад и вся перемазалась. Потом уснула у Пети на руках, и стало уже совершенно ясно, что нельзя оставить ее одну, с ее муфточкой, в которой лежали кукла-голыш и кусочек ленинградского хлеба. Что делать? Мы с Петей ехали в разные стороны — он со своим заводом на восток, я — на запад.

— Взять ее, что ли, с собой? — серьезно спросил меня Петя.

Я не успел ответить. Вдруг началось движение на станции, знакомый санитар промчался мимо нас, размахивая бумагами, и мой ВСП вдруг тронулся, как это всегда бывает с ВСП. Я вскочил на подножку. Петя крикнул:

— До свидания, еще встретимся! — и хотел поднять руку, но руки были заняты Люсей, и он только кивнул головой. Он стоял, высокий, перехваченный ремнями, и растерянно смотрел на спящую девочку — таким он медленно проплыл мимо моего вагона.

Еще три месяца памятной на всю жизнь зимы промчались, оглушив весь мир грохотом наших танков под Москвой и грохотом строек в Сибири, где под открытым небом, в сорокаградусный мороз наши люди собирали заводы. Редакция поручила мне написать очерк о молодом стахановце — я жил в одном из больших промышленных центров Урала. Нужно было ехать в город, на орудийный завод.

— Вот кого мы вам дадим — Мосашвили, — сказал мне секретарь парткома, — или Чапая. А что, дать ему Чапая? — с каким-то даже вдохновением спросил он пожилого мастера, пришедшего по делу и терпеливо ожидавшего, когда окончится разговор.

— Чапай — хорош, толковый, — сказал мастер.

— Что толковый — он азартный. Посмотришь: живой человек стоит. Это для писателя важно.

Он позвонил, и через четверть часа явился Петя Курков.

Не помню, о чем говорили в первые минуты встречи. Я спросил у него:

— Почему Чапай?

И он засмеялся и сказал:

— Да это ребята меня так прозвали за кубанку.

Но, слушая его рассказ, я подумал, что он и в самом деле похож на Чапаева, только усов не хватало. Но та же лихость и прямота в глазах, та же упрямая, энергичная посадка головы и плеч. Он рассказал о своей работе, о том, как сперва ему было тяжело, потому что всех людей пришлось перестраивать и «старики», давно работавшие на заводе, были недовольны. Как, изучая длинный путь, который проходил кусок металла, прежде чем попасть в его бригаду, он наткнулся на простую мысль — изменить поделку одной важной детали, и как это дало сотни тысяч экономии и почти вдвое ускорило производственный процесс.

— А Люся? Что с ней сталось?

— Я потом на всех станциях ее мать разыскивал, — сказал Петя, — но не нашел. Должно быть, погибла дорогой. В Ленинград писал — на набережную Красного флота. Никакого ответа.

— Так где же Люся?

— Со мной. То есть не совсем со мной, — добавил Петя и немного покраснел, — ее одна наша девушка взяла. В том же доме. Заходите, а?

Я сказал, что непременно зайду, и мы простились.

Он жил недалеко от завода, в новом доме, на

улице, для которой горсовет, очевидно, еще не придумал названия. Я долго обходил заваленные строительным мусором дворы, когда за одним из них вдруг открылся высокий, просторный берег реки. Я вышел на берег и увидел Люсю. Тогда она была в шубке, а теперь в легком платьице, и, может быть, это все-таки была не Люся? Она стояла у скамейки и деловито пеленала голыша, а на скамейке сидела толстенькая румяная девушка и читала.

— Люся!

Обе подняли глаза — серьезные, удивленные.

Петя пришел через полчаса, и за эти полчаса я получил полный отчет о Люсиной жизни. Это был очень хороший отчет, только почему-то выходило, что девушка тут ни при чем, а о Люсе главным образом заботился Петя. Но я посмотрел на Лену Светач — так звали девушку — и, кажется, понял, почему Петя так покраснел, упомянув о ней, когда мы говорили в парткоме.

Потом она ушла — Люсе пора было спать, а мы с Петей до позднего вечера гуляли по набережной и курили. Он рассказал, что Лена тоже приезжая, киевлянка, и тоже одинокая, как он и Люся. Потом он вдруг по-детски спросил меня:

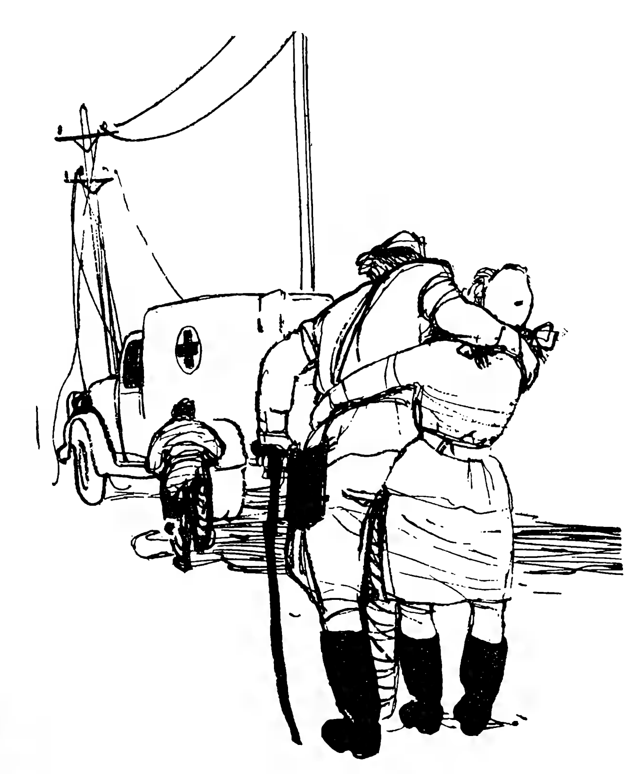
— Симпатичная, правда?

Большая баржа, а за нею плот медленно прошли по реке, солнце садилось, и закат предсказывал ветреный день. Мы говорили о Петиной бригаде, о заводской столовой, о том, что здесь ночи в июне лишь немногим темнее, чем в Ленинграде.

Время от времени, когда не хватало слов, он делал короткое, энергичное движение руками, и я смотрел на эти твердые руки с полосками въевшегося ма-

шинного масла, на эти руки, вернувшие жизнь старику профессору в осажденном Ленинграде, бережно державшие маленькую спящую девочку, потерявшую мать на военных дорогах. Мы говорили об очень простых вещах, но за ними сквозили другие слова, другие мысли.

Я вернулся к этим мыслям, шагая по улицам тихого ночного города. Жизнь юноши, почти мальчика, прошла передо мной, и в этой прочной поступи целого поколения я впервые увидел могущественные итоги войны. Следом за горем идет радость, люди находят друг друга, и прекрасные надежды сияют в молодых глазах.



Кнопка

Это была маленькая толстая румяная девушка с короткими косичками, перевитыми лентами и торчавшими над открытыми ушами. У нее было много прозвищ: Мячик, Чижик, а один боец, когда она еще работала в госпитале, прозвал ее Пучком энергии. Она действительно была похожа на пучок, состоящий из топота быстрых ног, скороговорки, румянца и ко-

сичек. Это была сама энергия — веселая, стремительная и действующая взрывами, как ракета.

Но из всех многочисленных прозвищ удержалось самое простое — Кнопка. Возможно, что оно намекало на ее маленький нос, напоминавший кнопку. Но она не обижалась. Кнопка так Кнопка! Главное было: всюду поспеть и все сделать самой. И она поспевала всюду.

В этот день, самый горячий за всю ее шестнадцатилетнюю жизнь, она с утра успела поругаться с шофером, сменить повязки раненым бойцам, лежавшим в медсанбате, накормить их, съездить за письмами на полевую почтовую станцию и сделать еще десятки дел, перечислять которые было бы слишком долго. Теперь нужно было везти раненых в тыл, и она принялась помогать шоферу, который, ворча что-то себе под нос, вот уже целый час возился с проколотой шиной.

Раненых она уже знала по имени, а кого не знала, того называла: «Голубушка».

— Ну, голубушка, теперь вот сюда, — говорила она лейтенанту, который, делая над собой мучительные усилия, шел, опираясь на ее плечо, к санитарной машине. — Ну-ка, еще раз!.. Умница! Вот и все!..

О том, что дорога простреливается, она сказала, когда все уже были устроены и осталось только принести в машину снятое с бойцов оружие.

— Вот что, товарищи, — сказала она быстро, — мы поедем на полном газу. Понятно? Дорога простреливается. Понятно? Так что нужно принять во внимание свои головы, чтобы при подбрасывании не разбить. Понятно?

Все было понятно, и никто не удивился, когда машина, слегка подавшись назад, вдруг рванулась

с места и во всю прыть помчалась по изрытой танками дороге.

— Держитесь! Раз! — говорила Кнопка, когда, ныряя в рытвину, машина тяжело кряхтела. — Есть! Поехали дальше!

Все ближе слышались разрывы снарядов. Черные столбы земли, перемешанной с дымом, вдруг вставали среди дороги, и в одном из таких столбов скрылась и взлетела на воздух сперва телега с фуражом, потом мотоциклист, почему-то стоявший недалеко от шоссейной сторожки, а потом и сама сторожка, рассыпавшаяся дождем досок, стропил и камня.

— Придется обождать, — обернувшись, крикнул шофер. — Эге! Кнопка!

— Давай дальше, проскочим!

Но проскочить было невозможно.

Шофер свернул и, проехав вдоль обочины по полю, поставил машину среди редкого кустарника, которым была обсажена дорога.

Лучшего прикрытия не было. Но и это было не прикрытие. Во всяком случае, оставлять раненых в машине, являвшейся превосходной целью, Кнопка не решилась. Называя их всех без разбору голубушками и умницами, она вытащила бойцов одного за другим и устроила в канаве метров за двадцать пять от машины.

Был душный августовский день. Солнце стояло в зените. Земля, перегоревшая за жаркое лето, была суха, и над нею неподвижно стоял горячий колеблющийся воздух. Вокруг — ни тени.

Очень хотелось пить, и первый сказал об этом маленький лейтенант с перевязанной головой, который всю дорогу подбадривал других, а теперь, беспомощ-

но раскинувшись и тяжело дыша, лежал на дне канавы.

— Нет ли воды, сестрица? — спросил он. И, точно сговорившись, все раненые стали жаловаться на сильную жажду.

Воды не было. Метрах в ста от разбитой шоссейной сторожки виднелся колодезный сруб. Но была ли еще там вода — неизвестно. Если и была — как добраться до нее через поле, на котором ежеминутно рвутся снаряды?

— Где ведро? — спросила Кнопка у шофера.

Он посмотрел на нее и молча покачал головой.

— В машине осталось?.. Да что же ты молчишь? В машине?

— Ну, в машине, — нехотя пробормотал шофер.

— Ты за ними посмотришь, ладно?

И прежде чем шофер успел опомниться, она выскочила из канавы и ползком стала пробираться к машине.

Это было еще полбеды — доползти до машины и разыскать полотняное ведро в ящике, полном всякой рухляди, которую шофер зачем-то возил с собой. Она достала ведро и, сложив его, как блин, засучила за пояс. Главное было впереди — добраться до шоссейной сторожки, уже не прячась в канаве, дойти до колодца.

Впрочем, первое, главное, оказалось не таким уж трудным. Канава была глубокая, а Кнопка — маленькая. Так что, если бы время от времени из непонятного ей самой любопытства она не поднимала свою голову, украшенную косичками, торчавшими в разные стороны над ушами, эта часть пути показалась бы ей самой обыкновенной прогулкой. Правда, прогулива-

ясь, она прежде не ползала на животе и не подтягивалась на руках, которые при этом сильно уставали. Но тогда было одно, а теперь другое.

Вот и сторожка — вернее, то, что от нее осталось.

За ней начиналось самое главное.

До сих пор Кнопка не думала, есть ли в колодце вода. Эта мысль только мелькнула и прошла, когда она разглядывала сруб издалека. Но теперь она снова подумала: «А вдруг воды нет?»

В первый раз ей стало действительно страшно. Вокруг был такой ад, такой отвратительный вой свистящего и рвущегося воздуха стоял над ее головой, так трудно было дышать, так устали руки, так скрипел на зубах песок — и все это, быть может, напрасно.

Но она продолжала ползти.

Сруб стоял на огороде, а огород был отделен изгородью хотя невысокой и полуразбитой, но которую все же нужно было обойти, чтобы добраться до сруба.

Легко сказать «обойти»! Это значило, что по крайней мере метров тридцать нужно было ползти под огнем.

Руки ныли, спину ломило, и Кнопка, прижавшись лицом к земле и стараясь ровнее дышать, решила, что не поползет. Ведро было на длинной веревке: она перебросит его через изгородь, авось ведро угодит в колодец.

Четыре раза она перебрасывала ведро, прежде чем оно попало в колодец.

Наконец удалось. Но оно упало бесшумно, и Кнопка поняла, что колодец пуст.

С минуту она лежала неподвижно: не то чтобы ей хотелось заплакать, но в горле защипало, и она

должна была несколько раз вздохнуть, чтобы справиться с сердцем.

— Так нет же, есть там вода! — вдруг сказала она про себя. — Не может быть. Есть, да глубоко.

Она сняла пояс и привязала его к веревке. Ведро чуть слышно шлепнуло — или это ей послышалось? Приблизившись к изгороди вплотную и приподнявшись на локте, она ждала несколько секунд. Веревка все натягивалась. Кнопка слегка подергала ее и поняла, что ведро наполнилось водой.

— Ну-ка, голубушка, — сказала она не то ведру, не то самой себе и стала осторожно вытягивать ведро из колодца. Она вытащила его — мокрое, расправившееся, полное воды, и, вскочив, быстро перехватила рукою.

Прежде всего нужно было напиться. Воды было много, хватит на всех. Может быть, умыться? Но умываться она не решилась. Сейчас-то много, но много ли она донесет?

И тут она впервые задумалась над тем, как вернуться обратно с ведром, полным воды, ведь теперь его не засунешь за пояс. Эх, была не была! И, подхватив ведро, она побежала к сторожке.

Где-то близко разорвался снаряд.

Она только присела на мгновение и побежала дальше.

Запыхавшись, приложив руку к сердцу, она остановилась у сторожки и заботливо заглянула в ведро: не очень ли много расплескалось? Не очень! И вообще гораздо лучше бежать, чем ползти.

Теперь все было в порядке — от сторожки до машины рукой подать, и можно добраться до нее по канаве.

— Пережду, как станет потише, — сказала она себе, и айда!

И вдруг она услышала чей-то голос.

Сначала она подумала, что ослышалась, потому что этот слабый голос назвал ее так, как называл ее только один человек во всем мире.

— А, Пучок энергии! Здорово!

— Что? — невольно откликнулась она и в ту же минуту увидела руку, торчащую из-под разваленных досок. Это был тот самый знакомый боец, который только один во всем госпитале не соглашался называть ее Кнопкой. Последний раз она видела его в Ленинграде, когда он выписывался из госпиталя и снова отправлялся на фронт.

— Сейчас, голубушка! — сказала Кнопка, осторожно снимая с него разбитые доски. — Подожди, милый!

Она заставила бойца обнять себя руками за шею и поползла с ним метров двадцать. О воде она вспомнила, уже когда была рядом с санитарной машиной.

— Ладно, скоро вернусь, — быстро пробормотала она. — Жаль только, что согреется. Эх, не прикрыла!

Шофер, заметив, что она возвращается не одна, выскочил из канавы и пополз к ней на четвереньках. Вдвоем они доставили раненого в укрытие, осторожно сняли с него гимнастерку, и, быстро приговаривая, Кнопка стала останавливать кровь и перевязывать раны.

Никто больше не просил пить. Никто даже не спросил у Кнопки, была ли в колодце вода. Жара стала еще удушливее, и маленький лейтенант лежал, закинув голову и полуоткрыв пересохшие губы. Он только взглянул на Кнопку и не сказал ни слова.

— Ты что, Кнопка? — спросил шофер, заметив, что она время от времени нетерпеливо поглядывает на сторожку.

— Ничего, — ответила Кнопка. — Кажется, потише становится, а?

Становилось как раз не «потише», а «погромче», и шофер только сомнительно покачал головой.

— Нет, потише, — упрямо пробормотала Кнопка и вдруг, выскочив из канавы, опрометью побежала к сторожке. Через несколько минут она вернулась, таща ведро с водой. Правда, она летела так быстро, что с добрых полведра выплеснулось, но еще оставалось много великолепной, не успевшей согреться, чистой, вкусной воды.

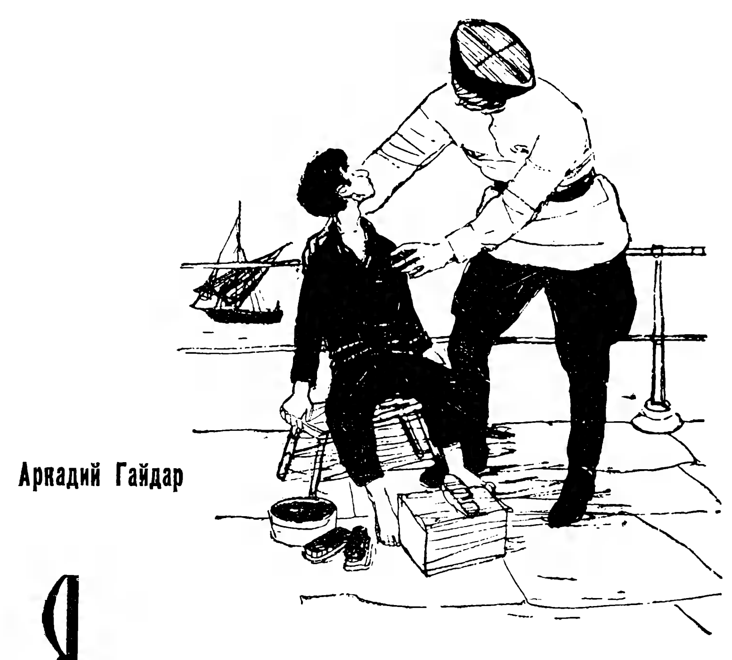
— Голубушки, принесла! Честное слово, принесла! — закричала Кнопка, подтанцовывая и сама глядя на воду с искренним удивлением. — Вот так штука! Принесла!

Через полчаса, когда обстрел прекратился и раненые, которых она напоила и умыла, были уложены в машину, Кнопка с дороги в последний раз взглянула на мертвый, изрытый снарядами кусок земли между колодцем и канавой. Песок вдруг скрипнул у нее на зубах, напомнив о том, как она ползла, подтягиваясь на руках, и как справа и слева рвались снаряды.

«Должно быть, я храбрая, что ли?» — неясно подумала она и поправила развязавшуюся ленточку на тугой короткой косичке.

Впрочем, спустя несколько минут она уже не думала об этом.

Машина по-прежнему ныряла по рытвинам, и нужно было следить, чтобы кто-нибудь из раненых не упал с носилок.



Аркадий Гайдар

Я мало знал Гайдара и все-таки сохранил о нем яркое и живое воспоминание. Вероятно, это произошло потому, что он принадлежал к людям, не скрывавшим ни своих чувств, ни своих мыслей. Напротив, он всегда стремился раскрыть себя, возможно полнее передать другим все, что его волновало. Это было прямодушие, обезоруживающее, неотразимое, открывавшее картину души — картину меняющуюся, сложную, но всегда озаренную светом искренности и чести.

Он писал, что у него обыкновенная биография и что не он, а время сделало то, что на четырнадцатом году своей жизни он ушел в Красную Армию, на пятнадцатом стал командиром роты, а шестнадцати уже командовал полком. Да, время было необыкновенное, но еще более необыкновенной была та романтическая глубина сознания, с которой этот мальчик пошел ему навстречу. Выбор был сделан — и на всю жизнь. Люди, знавшие Гайдара зрелым, сложившимся человеком, неизменно чувствовали в нем этот полет времени, эту юность, сказавшуюся в каждой строке и как бы шедшую за ним по пятам.

Я познакомился с ним в Ленинграде, когда он писал свою повесть «В дни поражений и побед». Он был чем-то глубоко удручен в те годы. Потом я узнал, что он только что оправился от тяжелой болезни, заставившей его покинуть армию. Он носил тогда фамилию Голиков, и по его первой повести трудно было судить о его своеобразном таланте.

Через много лет мы случайно встретились снова, в Ялтинском доме творчества, — период, отмеченный в немногих сохранившихся после него дневниках. Он ходил в гимнастерке, в папахе, в высоких сапогах, пожалуй, можно было подумать, что этот традиционный костюм нарочито стремится подчеркнуть романтическую приподнятость, свойственную его произведениям. Но если даже это и было позой, то какой-то простодушной, наивной и располагающей к себе, как и он сам располагал к себе своим открытым лицом и доброй улыбкой.

По утрам он будил нас пионерским горном, после ужина играл вечернюю зорю. Мы бродили по ялтинской набережной, заходили в милую татарскую де-

ревню Ай-Василь и много разговаривали, главным образом, разумеется, о литературе.

Однажды, когда мы возвращались с прогулки, он заметил на ялтинской набережной маленького айсора, чистильщика сапог, такого черного, как будто его окунули в гуталин, стоявший рядом с его скамеечкой в грязной банке. Он постучал по ней щеткой, когда мы проходили мимо, и Гайдар немедленно поставил на его скамеечку ногу.

— А ну, давай.

Не помню, о чем мы говорили, пока маленький чистильщик с трогательной тщательностью обрабатывал гайдаровские высокие сапоги, — во всяком случае, о чем-то, не имевшем ни малейшего отношения к маленькому айсору. Но когда работа была кончена и Гайдар щедро заплатил ему, и мы отошли от мальчика на порядочное расстояние, он вдруг вернулся к нему, взял за плечи и сказал, взглянув прямо в его округлившиеся, испуганные глаза:

— Ты будешь адмиралом.

Больше не было сказано ни одного слова. Мы ушли. Мальчик стоял, глядя нам вслед, изумленный, растерянный, с загоревшимися глазами...

Да, Гайдар был не только писателем, то есть человеком, который три четверти своей жизни проводит за письменным столом, рассказывая о том, что он видел. Это был путешественник, разведчик, солдат, для которого писание и жизнь были почти одно и то же, и знак равенства, который он ставил между ними, был свидетельством его своеобразия. Его любят не только за книги, но и за то, что он был самим собой — без преувеличения, без притворства, за то, что он жил так же просто и светло, как умер. Есть

смерти значительные, неслучайные, венчающие жизнь, бросая на нее мгновенно вспыхивающий, ослепительный свет. Так пал Шандор Петефи, сражаясь на стороне революционного венгерского народа. Так погиб Гарсиа Лорка, расстрелянный фашистами в Гренаде в первые дни франкистского мятежа.

Гайдар, военный корреспондент «Комсомольской правды», отказался вернуться в Москву после отхода наших войск от Киева, остался у партизан и был убит в бою. После его смерти стали складываться легенды.

Вот одна из них. Ее рассказал мне капитан-лейтенант Гурамишвили.

— Весной 1942 года небольшая группа моряков под моей командой была заброшена в глубокий тыл, и десять дней мы провели в лесах, готовясь к захвату немецкого аэродрома. Командование отложило операцию. Наши запасы кончились, и пришлось выйти на поиски продовольствия.

В красноармейской гимнастерке, злой и усталый, я залег в полукилометре от небольшого селения. Немцы ходили по дворам. Я видел, как они гнали по улице барана, жирного барана, который жалобно кричал, точно догадываясь, что его сейчас зажарят. Кстати, все это происходило накануне 1 Мая, и нам до смерти хотелось отметить праздник приличным мясным обедом.

Прошло часа два, и на пыльной проселочной дороге, круто завернувшей к селу, я увидел мальчика лет пятнадцати, который ехал верхом на маленькой гнедой лошаденке. Он свернул в лес, прошел немного, ведя лошаденку в поводу и остановился совсем близко от меня на опушке, прикрытой с дороги густой стеной старых елей.

Он свистнул прерывисто, нежно, подражая какой-то птице, и другой мальчик, поменьше, в мохнатой кепке, скатился откуда-то сверху и вытянулся, поднеся руку к козырьку.

Я не слышал, что он сказал ему. Но это был рапорт — вот что меня поразило! Как настоящий командир, первый выслушал его и, ответив на приветствие, пожал руку. Потом предложил сесть, и они устроились на пеньках, разговаривая о чем-то серьезном сдержанными голосами.

— Ребята, — сказал я негромко, — эй, ребята!

Они обернулись, и тот, что поменьше, мигом исчез в кустах. Справа от меня чуть шевельнулись елочки. Он был уже там, по всем правилам военной науки обойдя меня с фланга.

— Поговорим, — сказал я первому.

Он подошел. Это был рыжий, широкоскулый мальчик, неуклюжий, с медленными движениями.

Ты из этой деревни?

— Да, — спокойно отвечал он. — А ты кто, дяденька?

— Красноармеец. К своим пробираюсь.

Он помолчал.

— Ну ладно. А что тебе надо?

— Хлеба.

Он помолчал.

— А эти в лесу — тоже ваши?

— Хорошая разведка, — отвечал я. — Да, тоже наши.

— Ладно, дяденька, пошли.

— Куда?

— Не бойся, дяденька, — возразил он и усмехнулся, — за хлебом.

Второй мальчик присоединился к нам, и, пройдя болотце, мы скрылись в диком старом лесу. Лес этот был завален буреломом, под огромными елями было почти темно.

Я вступил на лежащую толстую ель, и нога до колена ушла в гнилую сердцевину.

Дорогой раза два нам попались мальчики, примерно такого же возраста, как мой рыжий предводитель. Шепотом он сказал им несколько слов; вытянувшись по-военному, они выслушали его и пошли за нами.

Наконец мы остановились. Рыжий мальчик исчез в груде бурелома, образовавшего нечто вроде пещеры, и минуту спустя я как будто из-под земли услышал его громкий голос. Прошла еще минута, и из «пещеры» показался высокий человек в кубанке, подпоясанный кавказским ремешком, широкоплечий и добродушный.

Что-то знакомое мелькнуло в его лице — мелькнуло и скрылось, когда, подойдя, он стал пристально рассматривать меня своими светлыми глазами. «Где я видел этого человека?» — подумалось мне. Но у меня не было времени для воспоминаний. Он стал расспрашивать меня, я — его, и в течение получаса мы занимались тем, что с равной ловкостью увертывались от прямых ответов.

— Да вы же голодны, черт возьми! — вдруг сказал он. — Саша, тащи барана, живо!

Третий мальчик исчез, и через пять минут передо мной явилась жирная баранья нога и хлеб — сколько угодно хлеба! Я ел и думал: «Где мы встречались?»

Мы нигде не встречались! Но это был Гайдар, мне

не раз случалось видеть его портрет в газетах и журналах. Мне показалось, что ему лет тридцать пять, но странно... Вдруг среди серьезного разговора он быстро оглядывался. Азартный, мальчишеский блеск мелькал в глазах, и совершалось чудо: он превращался в юношу семнадцати лет, которому все на свете представлялось необычайно интересным и новым.

Каждый день он начинал жизнь сначала. Он был бескорыстен и смел, и все в нем было рыцарским и мальчишеским одновременно. И в самой внешности его эти черты были заметны с первого взгляда. Высокого роста, голубоглазый, с широким добрым лицом, он с первого же слова располагал к себе.

Я провел с Гайдаром три дня и, как это ни смешно звучит, положительно влюбился в этого человека. Он руководил партизанским отрядом, но между делом организовал — кому еще это могло прийти в голову, кроме него? — тайный союз детей против врага, ворвавшегося в их дома и школы. Они видели все, эти дети. У одного брат с доской на груди висел на городской площади, другой бежал из родной деревни, всадив нож в глотку немецкого солдата. Они подрывали мосты, закладывали на дорогах мины, они подпиливали телеграфные столбы. Отличные разведчики, они вели наблюдение за движением немецких эшелонов. Они обеспечивали связь между партизанскими отрядами и разрывали ее между немецкими частями. И Гайдар, с его романтическим вкусом ко всему необыкновенному, командовал этими маленькими солдатами, которые его обожали.

Утром — это было 1 Мая — я был свидетелем картины, которая поразила меня и запомнилась навсегда.

На поляне, широко освещенной солнцем, стояли мальчики, кто в сапогах, а кто и босиком, но в безукоризненном воинском строю. Послышалась команда «смирно» — ее отдал рыжий Саша, который ради торжественного дня был одет в серый широкий, должно быть отцовский, пиджак, украшенный красной лентой, — и Гайдар вышел на поляну. Двое ребят несли за ним знамя, выцветшее и измятое — настоящее боевое знамя.

Подтянутый и серьезный, но с веселым блеском в глазах, он поздравил отряд с праздником 1 Мая. Я был уверен, что сейчас услышу торжественное обещание, которое дают ребята, получая пионерский галстук. Но слова воинской клятвы вдруг прозвучали перед строем, сдержанно отдаваясь в глубине старого леса.

— Я, гражданин Советского Союза, — негромко говорил командир, и мальчики, бледные от восторга и волнения, повторяли за ним:

— Я, гражданин Советского Союза...

— Торжественно клянусь...

— Торжественно клянусь...

Юные бойцы, они опустились на одно колено, произнося скупые слова партизанской клятвы. Готовые к черному, суровому труду войны, они клялись сражаться с достоинством и честью, мужественно и умело.

У меня в горле перехватило. Стыдно признаться — слезы невольно подступили к глазам.

Гайдар отпустил мальчиков, и мы остались одни.

— На днях я рассказал им, — сказал он, — что немцы распилили и увезли из Петергофа статую Самсона. И вы бы видели, с какими лицами они слушали

меня! Вы правы, это наше будущее. Кто, если не эти мальчики, будет строить новые города, сажать леса, подымать опустевшие земли?

Мы просидели в Брянских лесах еще неделю. Нужно сказать, что для немцев это были самые спокойные дни. Прекратились налеты на немецкие обозы, минирование дорог, убийства часовых. Это было сделано по моей просьбе — я боялся, что действия партизан привлекут к ним внимание немцев.

Но разведка — тщательная, подробная — продолжалась, и в этом деле неоценимую помощь оказал нам отряд Гайдара.

Наконец приказ был получен. Не стану подробно рассказывать о захвате аэродрома, в свое время об этом писали в газетах. Скажу только, что, вернувшись, я имел счастье доложить, что тридцать восемь немецких машин больше никогда не будут бомбить наши города и села.



Самое необходимое

До войны папа работал продавцом в магазине, и Марише нравилось покупать у него что-нибудь, как будто она чужая.

— Отвесьте мне, пожалуйста, ливерной триста граммов. Нет, от этой, кажется, пожирнее.

Он смеялся и был еще такой молодой, интересный, с блестящими черными нарукавниками, в белой ша-

почке и в белой нарядной куртке. В магазине было светло, красивые колбасы в серебряной бумаге, которые никто не покупал, висели вдоль полок, и стоял красивый холодильный шкаф с никелированными ручками, прилавки мраморные под гнутым стеклом, и все вокруг блестело и сверкало.

Прежняя жизнь, до войны, представлялась Марише в виде этого магазина. Теперь он был заколочен, высокие щиты стояли перед окнами, и Мариша старалась поскорее пройти мимо, потому что она не хотела вспоминать прежнюю жизнь. «Еще навспоминаемся», говорила мама. И она была совершенно права.

Папа служил теперь в эвакогоспитале, на вещевом складе. Он отрастил усы и стал худой и длинный. Каждый раз он приносил что-нибудь домой из своего обеда, и мама сердилась, что он сам ничего не ест, а все оставляет для них. Он молчал, а потом подзывал Маришу, спрашивал, как прошел день, и все гладил ее по голове и смотрел с беспокойством. Он все думал теперь, все думал. «Ты не думай, Лев», — однажды сказала ему мама. И она была совершенно права.

* * *

Школы должны были открыться еще в сентябре, но не открылись, и Мариша решила пойти в госпиталь, конечно, не сестрой, потому что у нее не было медицинского образования, а так что-нибудь — читать раненым или помогать по хозяйству. Она немного боялась, как отнесется к этому мама, но мама согласилась и даже пошла с нею к военкому.

— Сколько лет? — спросил военком.

— Четырнадцать.

— К сожалению, не могу. Для детей у нас нет работы.

— Вы ее не знаете, — сказала мама. — Она девочка хозяйственная, толковая. Вы вполне можете на нее положиться.

— Идите в Дом Красной Армии, — сказал военком. — Вас направят, если это возможно.

И в ДКА действительно дали направление в сортировочный госпиталь на Васильевском острове — очень далеко, но отказаться было неудобно.

Сперва это было страшновато, особенно по ночам: то один раненый застонет, то другой, и вот уже кажется, что вся огромная палата стонет и скрипит зубами в полутьме, — только вдалеке, у дверей, чуть виднеется слабый огонек керосиновой лампы. Но потом Мариша привыкла. Мама говорила, что в жизни страшно только непонятное. И, как всегда, она была совершенно права.

Трамваи уже не ходили, и Мариша проводила в госпитале неделю, а потом на два дня возвращалась домой. И каждый раз она возвращалась в другой город, в другой мир. В этом мире все было только самое необходимое и даже слова только необходимые, без которых совершенно нельзя обойтись. «Самое необходимое», — казалось, говорили темные дома с заколоченными окнами. «Самое необходимое», — говорил аэростат воздушного заграждения, который вели по Михайловскому садику красноармейцы, подхватив веревками под жабры, как огромную серую рыбу. Но самого необходимого становилось все меньше и меньше.

Папа умер в конце декабря. Он принял ванну в госпитале, простудился и умер. И как раз в этот день

прибавили хлеба, — он еще слышал, как по радио сообщили об этом. Гроб было трудно достать, но Мариша достала; и папа лежал в гробу чистый, даже нарядный, с красивыми черно-седыми усами.

Мама теперь редко вставала с постели, и Мариша занималась хозяйством дома. Она вставала в шесть часов утра и слушала сводку. Потом шла в магазин за хлебом и, вернувшись, растапливала таганчик, который сама сложила из кирпича в круглой печке. Пили чай, и Мариша шла за дровами. Большею частью она собирала щепки, но, если попадался хороший начальник сломки, она привозила домой и что-нибудь покрупнее.

Все меньше становилось самого необходимого. Уже нельзя было читать маме вслух, потому что зимний свет едва проходил через ставни. Маме нельзя было думать, и теперь Мариша говорила ей: «Мама, не думай». Но сама она думала и думала...

В январе маме стало лучше, и Мариша решила пойти на курсы сандружинниц, потому что мама могла теперь справиться одна и необходимого стало немного больше. Председателем РОККа оказалась женщина, и довольно сердитая.

— Детей не берем, — сказала она, — кажется, ясно?

Но Мариша не ушла, осталась сидеть на крыльце и хорошо сделала, потому что в РОКК как раз пришел знакомый доктор из госпиталя, в котором она работала прежде. И она слышала через полуоткрытую дверь, как он сказал председателю РОККа:

— Именно такие девочки нам и нужны.

Так она стала сандружинницей. Она научилась перевязывать раненых и выносить их с «поля боя»,

и еще многому другому, что необходимо было знать согласно программе. Обед она теперь получала на курсах, и это был сравнительно превосходный обед, который она относила маме. Сама она почти ничего не ела, но чувствовала себя ничего, и если иногда на занятиях начинала кружиться голова, стоило только вспомнить о маме, и головокружение проходило. Маме она говорила, что получает второй обед, потому что у них котловое питание. Но зато она съедала теперь весь свой хлеб — триста граммов, потому что это было действительно совершенно необходимо.

И все-таки мама умерла. Это было ночью. Мариша спала с нею и вдруг услышала хрип. Она зажгла лучинку и стала спрашивать: «Мамочка, что с тобой?» Но мама не отвечала, только хрипела. Тогда с лучинкой в руках Мариша стала бегать по дому. Она постучалась в соседнюю квартиру, и никто не открыл: должно быть, все умерли или никого не было дома. Она побежала через двор к соседке, которая прежде бывала у них. Соседка пришла и сказала: «Твоя мама скончалась». Мариша причесала маму, переодела, все как следует, в полном порядке. На своих детских саночках она повезла ее через Неву на кладбище; и дорогой саночки несколько раз переворачивались, но Мариша снова ставила их на полозья. Ветер был холодный, снег забивался в рукава.

* * *

Теперь самого необходимого осталось очень мало. В пустой холодной квартире Мариша разожгла свой таганчик и села подле него на корточки, грея потрескавшиеся красные руки. У нее немного болела голова, и ей казалось, что все девочки в городе сидят сейчас

на корточках у таганчика и думают об одном. Ей казалось, что, если очень много людей одновременно подумают об одном, произойдет что-то необыкновенное — может быть, даже чудо. Она не заметила, как уснула. Огонь в таганчике стал меркнуть и, наконец, погас. Ветер распахнул выходные двери, и Смерть, у которой в эту ночь было много дела, заглянула в комнату и увидела девочку, свернувшуюся у остывшей печки, под маминой шубкой.

— Еще одна, — сказала Смерть равнодушно.

— Но я не хочу умирать, — возразила во сне Мариша. — Мне нельзя умирать. Я еще не сделала все, что могла.

— Полно, Мариша! — сказала Смерть. — Все равно ты не доживешь до утра.

— Уходи, — сказала Мариша.

— Вспомни, как ты когда-то жила, — снова сказала Смерть, — как много было самого необходимого. Ты плакала, потому что новое платье не было готово ко дню твоего рождения. А теперь? У тебя остался только этот слабый огонь в таганчике. Смотри! И он погас. Пора, Мариша, пора!

Так они разговаривали в пустой холодной квартире, по которой гулял холодный ветер с Невы, и весь город слушал этот разговор — и ночные смены на ушедших под землю заводах и колоссы Эрмитажа; на одном из них была трещина от снаряда, и, быть может, поэтому он слушал с особенным вниманием.

— Тише, тише, — сказал старый дуб в Летнем саду, с которого тихо упал снег на пышную, затерявшуюся в снегу аллею. — Ну-ка, что скажет на это наша Мариша?

— Мне нельзя умирать, — сказала Мариша. —

Что же, напрасно я училась перевязывать раненых и выносить их с поля боя? Я бы умерла, если бы мне одной была нужна моя жизнь.

И слабой рукой она натянула на себя мамину шубу...

Это была трудная задача — встать, когда не сгибаются ни руки, ни ноги. Но Мариша встала, как всегда, в шесть часов, прослушала сводку и, как всегда, отправилась в магазин за хлебом. Она шла медленно, очень медленно и считала шаги. Ей всегда казалось, что магазин очень близко от дома, а на самом деле он был в двухстах двадцати шагах да еще четыре до прилавка в самом магазине. Вернувшись, она разожгла таганчик. Соседка принесла ей супу и немного поплакала, глядя, как ест Мариша.

— Переезжай ко мне, моя родная, — сказала она. — Ничего, будем жить. Нужно жить.

И она была совершенно права.

* * *

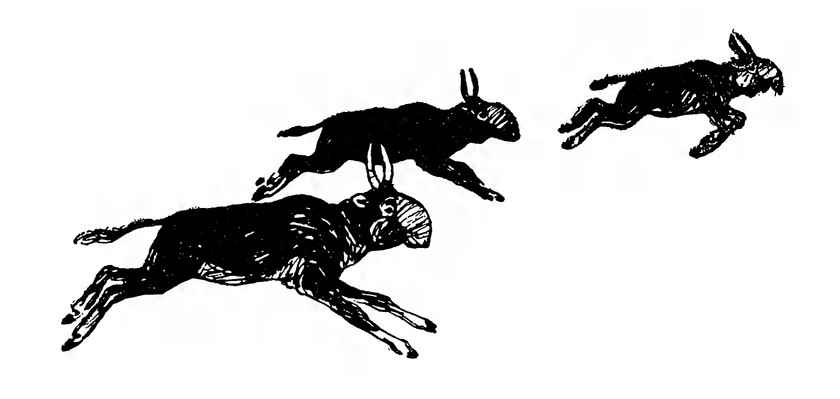
Через месяц отряд сандружинниц отправился на фронт, и Мариша шла по ночным улицам и прощалась с городом, в котором все были так нужны друг другу. И город провожал ее.

«До свидания, дочка! — говорили дома с забитыми окнами, мертвые на первый взгляд, но живые, живые. — Счастливо, дочка! Возвращайся с победой».

«Возвращайся с победой, Мариша!» — говорили колоссы Эрмитажа. И тот, на котором была трещина от снарядов, еще долго смотрел ей вслед — все смотрел, хотя отряд давно уже свернул с улицы Халтурина к Марсову полю и давно ничего не было видно в темноте холодной медленной ночи.



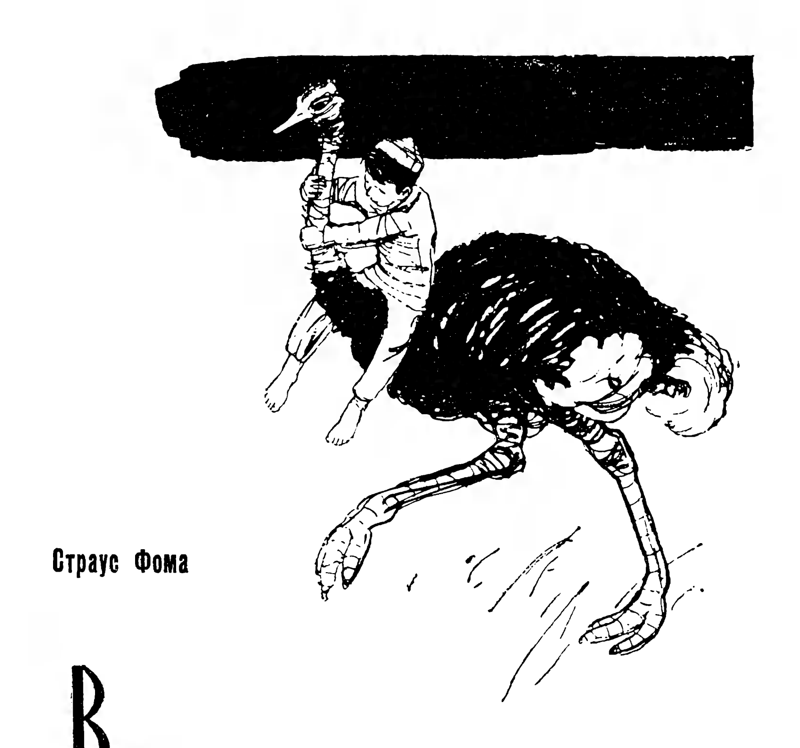
К стр. 197.



из книги

„ПРОЛОГ"





Страус Фома

В о всем виноваты были фламинго. Ноги у них были похожи на циркуль, клюв — на табакерку. Один из них спал, положив голову под розовое крыло. Он спал, как солдат на часах, а потом проснулся, выполоскал ногу и почесал ею у себя за ушами.

— Крак, — пробормотал он, и вслед за ним все фламинго заорали «крак», как будто в целом доме разом захлопнулись и распахнулись двери.

И фламинго замахали крыльями, но никуда не улетели, а пошли в пруд и стали ловить рыбу. Важные, с достоинством расхаживали они, и ноги их — длиннейшие, тончайшие — казались еще длинней и тоньше, отражаясь в спокойной воде пруда.

Я засмотрелся на этих почтенных птиц и потерял своих друзей, с которыми отправился осматривать Асканию-Нова.

Их было двое, одного звали Чеберда, другого Куликов. Чеберда был длинный, сутулый, мрачный, Куликов — маленький, смешливый.

Между ними не было ни малейшего сходства. Чеберду, например, очень уважали на таборе, Куликова не очень. Чеберда за работой молчал, Куликов пел. И тем не менее за последние дни они от усталости стали походить друг на друга.

Желтые, скуластые, как китайцы, они бродили по табору и с каждой новой бессонной ночью делались, кажется, несколько ниже ростом.

Но почти весь хлеб был уже снят, он уже скатывался по трубам элеватора в вагоны, его уже грузили на пароходы в днепровских портах, можно же, наконец, так я убеждал их, отдохнуть два-три часа от лязганья тракторов, от жары.

— Что же, я в зверинце не был? — спросил Чеберда, а потом всю дорогу ворчал, что вот он тут шляется, отдыхает, видите ли, пока учетчики на опытном поле что-нибудь напутают, наврут.

А я всю дорогу ругал его и доказывал, что учетчики не наврут, что Аскания вовсе не похожа на зверинец, что в зверинцах звери сидят за решетками, а в Аскании можно встречаться с ними на улицах,

как с добрыми знакомыми, можно поболтать со страусом, а с байбаком поздороваться за лапу.

Долго я убеждал его у Куликова, убедил в конце концов, а вот теперь вдруг потерял их и остался один с этими смешными птицами, которые все расхаживали по воде, да ловили рыбу, да чесали у себя за ушами.

— Это вы виноваты во всем, — сказал я фламинго, — если бы у вас были не такие тонкие ноги, не такие смешные клювы, не такие розовые крылья, я бы не потерял своих друзей, которых не очень-то легко было вытащить на эту прогулку. Ну, куда они пошли: налево или направо, назад или вперед, — отвечайте!

Фламинго молчали. Один из них обернулся ко мне и вдруг убрал ногу куда-то в живот. Он стоял на одной ноге и задумчиво поглядывал на меня своими плоскими красными глазами.

Тогда я попрощался с ним и ушел, и долго бродил по запутанным дорожкам Асканийского парка, разыскивая своих друзей. Один раз мне было показалось, что где-то в кустарниках мелькнули сутулые плечи Чеберды. Я бросился туда. Да нет, никого не было, только вежливые красавки-журавли расхаживали по лужайке и почтительно кланялись друг другу.

— Ну что же, нет так нет, — сказал я себе. — Ничего не поделаешь, милый друг, придется одному возвращаться на участок.

Едва произнес я эти слова, как легкий свист послышался неподалеку. Он был такой отчетливый, такой переливчатый, этот свист, что я подумал сначала, что это вовсе и не человек свистит, а птица.

Но это был человек, и вскоре я увидел его, обойдя густые заросли камыша и выйдя на открытое место.

Мальчик лет десяти-двенадцати прохаживался по степи за прудом.

Он шел и свистел, и целое стадо страусят, пища, послушно бежало по его следам.

Он останавливался на мгновение — и они сейчас же сбивались в кучу, толкались, лезли друг на друга; он двигался дальше — и, бросаясь из стороны в сторону, страусята сломя голову летели за ним.

Мне пришлось обогнуть пруды, чтобы добраться до него, а когда я добрался, страусята уже больше не гуляли, мальчик больше не свистел. Страусята сидели в своем доме (дом был очень хороший, только небольшой, мне как раз по пояс и без крыши) и пищали, а мальчик сидел на корточках и кормил их ячневой кашей с луком.

Теперь я отчетливо рассмотрел его.

Он был небольшого роста, загорелый, круглолицый, в тюбетейке, в синей майке, которая плотно обтягивала плечи, шнурок был небрежно повязан на груди. Волосы у него были черные, прямые, а скулы широкие, татарские. Если бы не вздернутый нос да не голубые глаза, я бы без колебаний сказал, что вижу перед собой татарчонка.

Мой школьный приятель Таканаев, на котором в четвертом классе мы изучали отличия монгольской расы от европейской, вспомнился мне, когда я рассматривал страусячьего пастуха. Он был самый ловкий во всем классе, этот Таканаев, и, когда нужно было драться с реалистами, мы в первую голову выпускали его. Он был отчаянный, задорный и один

раз взялся на пари, что во время большой перемены въедет верхом на лошади в гимнастический зал. И въехал. В тот же день его исключили, и больше я его не встречал.

Рассматривая мальчика, кормившего страусят ячневой кашей с луком, я, разумеется, не знал, что по смелости и ловкости он ничуть не уступит моему отчаянному школьному другу.

Лопоча, размахивая крылышками, страусята храбро налетали на кашу. Мальчик называл их по именам и, по всему было видно, держал в ежовых рукавицах.

— Маруська, — строго сказал он одному, самому маленькому, который еще и ходить-то, кажется, как следует не умел, а все-таки лез вперед, отчаянно крутя шеей, — ты куда? Стоп! Задний ход, третья скорость!

Я разглядывал страусят.

— А почему у них колени такие толстые?

Мальчик отхватил ложкой кусок каши и отнес его Маруське, которая хоть и отлетела на третьей скорости в самый дальний уголок, но так разевала рот, так тянулась за кашей, что, кажется, голова у нее готова была оторваться.

— У них рахит, — с презрением пробормотал мальчик.

Я удивился.

— Вот бедняги! Рахит? Что же, им тут в Аскании солнца не хватает?

Присев на корточки, мальчик кормил страусят с ладони.

— Не хватает! — иронически сказал он. — Тут, брат, солнце такое, что целый день только одно дело

и знаешь, что рубаху выжимаешь! А им не хватает, скажи, пожалуйста! Избаловали их, вот что!

Он встал и подошел ко мне поближе.

— Вы откуда, с табора?

— С табора.

— Ну?! — с радостным изумлением сказал мальчик. — А правда, что на табор еще один «катерпиллер» прислали?

Я вспомнил, что и в самом деле несколько дней тому назад Куликов ездил на Главный хутор принимать новые тракторы.

— Вот только не знаю, — добавил я, — был среди них хоть один «катерпиллер» или не был.

— Наверно, был, — поспешно пробормотал мальчик, — «катерпиллеры» — они сильные, как черти. Я, брат, подсчитал. Если в одном бизоне три с половиной лошади, в «катерпиллере» семнадцать и одна седьмая бизона. Семнадцать и одна седьмая — да ведь это целое стадо!

Я удивился:

— Как это одна седьмая?

— Постой-ка, а если на страусов прикинуть, — сказал мальчик с увлечением, и голубые глаза его заблестели. — На взрослых, конечное дело, не на этой мелкоте. Так что выходит? В одном страусе три четверти лошади, ровно! А в «катерпиллере» шестьдесят лошадиных сил. Значит, восемьдесят взрослых африканских страусов. Вот это я понимаю, это сила!

Я посмотрел на мальчика. И под загаром видно было, как разгорелось у него лицо. Глаза стали большие, счастливые.

— Ну и что же? — сказал я равнодушно. — В Сальских степях я видел машину в сто лошадиных

сил. Трактор «монарк». Это, брат, тебе не какой-нибудь «катерпиллер». Пожалуй, он один всех ваших и бизонов и страусов перетянет!

Мальчик зажмурил один глаз. Он зашептал, зашептал, зашевелил пальцами, потом прикусил губу и зажмурил другой глаз.

Он считал в уме.

— Двадцать восемь с половиной бизонов, — объявил он с восторгом. — Здорово! Вот бы посмотреть на такую штуку! А какой он, большой? Гусеничный или на колесах?

Стараясь выведать от меня всю правду об этой необыкновенной машине в двадцать восемь с половиной бизоньих сил, он и думать забыл о страусятах, которые, должно быть, съели вдвое больше каши, чем им полагалось. Он вытащил из кармана клочок бумаги и нарисовал на нем все знакомые ему системы тракторов: и маленький, корявый «фордзон» с кривыми зубьями на переднем колесе, и тяжелый, похожий на танк, «катерпиллер» с одной длинной фарой, и «интернационал» с трубой, из которой валил почему-то густой кудрявый дым.

Он замучил меня, добиваясь подробностей о «монарке», и успокоился только тогда, когда я откровенно признался, что видел эту машину только один раз, да и то мельком, и не знаю всех отличий ее от других тракторов.

— Ну, ладно, — сказал я наконец. — Мне пора. Пятый час, когда еще до табора доберусь. Скажи-ка на прощание, как тебя зовут, может, еще раз выберусь в Асканию, найду тебя, поболтаем.

— Петька Ковалев, — сказал мальчик, любивший тракторы.

Он задумался, потом добавил:
— Вам по дороге верст семь, а через Большой загон едва ли три наберется.
Я понял, что Большой загон — это какая-то часть Асканийского парка.
— А через Большой загон нельзя?
Мальчик покачал головой. Он еще немного повозился со страусятами, потом запер их на крючок и остановился передо мной с задумчивым видом.
— А вы никому не скажете, если я вас через Большой загон проведу?
— Никому.
— Честное слово?
— Честное слово.
Он еще раз заботливо оглядел своих питомцев.
— Ну, ладно, коли так. Айда!
Я никак не ждал, что высокий дощатый забор, видневшийся неподалеку от домика страусят, — это и есть ограда Большого загона.
Мы добрались туда в пять минут и еще по меньшей мере двадцать шли вдоль забора, потому что Петька, пугая сторожами, все не давал перелезть.
Наконец он остановился.
— Здесь, — сказал он шепотом, хотя, должно быть, на полкилометра от нас не было ни одного человека, и вдруг, разбежавшись, сиганул, как кошка, через забор.
Я перелез вслед за ним.
Так вот что такое был этот Большой загон!
Это был просто огромный кусок земли, такой широкий и длинный, что даже и не видать было противоположной ограды, и по этой земле ходили олени,

лани, антилопы, зебры, яки и другие животные. Они гуляли и ели траву.

Я много раз бывал в Зоологическом саду и животных этих видел не раз. Но впервые я видел их такими ясными, спокойными, такими равнодушными к человеку, перед которым они чувствуют себя здесь как перед равным равный.

Я думал об этом, идя вслед за Петькой по Большому загону. Мы обошли пруд, в котором стояли по колено в воде три нарядных маньчжурских оленя. Горная лама, узкомордая, с заложенными назад ушами, пряталась от солнца в тени деревьев, окружавших маленький родник.

Она плюнула в нашу сторону, когда мы проходили мимо, и Петька выругал ее довольно крепко.

— Ты что же, Петя, должно быть, не очень-то любишь животных? — спросил я, вспомнив, что и со страусятами он обращался сурово.

Петька пренебрежительно пожал плечами.

— А за что же мне их любить? — спросил он. — Они все слабосильные. Ну, какой самый здоровый зверюга? Слон? А сколько слонов один «монарк» перетянет?

И он, должно быть, снова пустился бы в свои вычисления, если бы в это время мы не спугнули стадо очень странных овец с большими носами. Они спали на кургане, а когда мы приблизились, лениво поднялись и пошли, переваливаясь, прочь.

— Вот так нос! — сказал я Петьке.

— Это антилопа сайгак, — объяснил Петька не без важности. — Это такая антилопа, у которой очень большой нос.

Да, уж это был нос! Это был всем носам нос! Тол-

стый, хрящеватый, весь в морщинках, он шевелился, как хобот. Он был какой-то недовольный, глупый, и по этому носу видно было, что и вся антилопа — дура.

Потом мы прошли еще немного и встретили гну — маленькую голубую лошадь с огромной бычьей рогатой мордой. Она была голубая, и, честное слово, у нее была бычья морда, только курносая, бородатая и очень злая. Куда злее, чем у быка.

Когда мы проходили мимо, она вдруг подпрыгнула и с сомнительным видом помотала головой. Потом подпрыгнула еще два-три раза и, наклонив рога, бросилась прямо на нас. Без сомнения, если бы не Петька, я бы во все лопатки побежал от этой сердитой скотины. Петька схватил меня за рубаху и придержал.

— Она не тронет! — крикнул он, когда гну была уже в десяти шагах от нас, и я отчетливо видел ее злобные глаза, густо обросшие белыми щетинистыми волосами.

И верно, гну остановилась, немного не добежав до нас.

Потанцевав с минуту на одном месте, она чихнула и вдруг ни с того ни с сего помчалась за мирно гулявшим неподалеку стадом длинногривых баранов.

— А здорово она затормозила, правда? — быстро спросил Петька — Это она так играет.

Но мне эта игра показалась не очень забавной...

Мы добрались до середины Большого загона — уже видны были вдалеке очертания противоположной ограды, когда, невзначай обернувшись, я увидел большого африканского страуса, который мчался к нам во всю мочь.

Плавно потряхивая хвостом, он подбежал, встал на цыпочки, сделал напоследок еще один огромный шаг, а потом положил голову на бок и заморгал. Подумав немного, положил голову на другой бок и опять заморгал.

Это был очень почтенный страус, очень солидный, несмотря на то, что у него были совершенно голые ноги.

Моргал он, без сомнения, Петьке, и Петька, как ни старался скрыть, был все-таки всем этим очень доволен — тем, что страус бежал за ним, а теперь стоит и моргает.

— Ну, ты чего, Фома? — строго спросил он у страуса. — Чего пялишься?

Фома стеснительно топтался на месте.

— Это не простой страус, — сказал Петька, — это герой гражданской войны. Он у деникинского офицера пакет с донесением украл и съел.

— Как съел?

— Очень просто. Здесь, в Аскании, в девятнадцатом году деникинцы стояли. Вот один ихний офицер подошел к забору и хотел Фому по спине потрепать. А у самого за обшлагом пакет с донесением был. Только он просунул руку, Фома хап пакет, да и съел. Так ведь что было! Офицер за ним по всему загону носился, все хотел его ухлопать и пузо вспороть. Ну, не дали.

Загнув голову куда-то в район хвоста, герой гражданской войны ловил у себя на спине мух во время этого рассказа. Клюв свой он при этом деле разевал так широко, как будто каждая муха была величиной с небольшую дыню.

— Мы с ним старые товарищи, — сказал Петь-

ка, — вот он теперь до самого забора за мной следом пойдет.

И верно, мы двинулись, и страус пошел за нами.

Важно приподнимая крылья, он шел, похожий на старомодную степенную даму в кринолине, в пышном платье, с белыми перьями по бокам.

Мы оставили его за оградой Большого загона, и Петька хоть и повторил несколько раз с презрением, что сила у него, у страуса, самая пустяковая, ну, не больше, чем три четверти лошади, но все-таки ласково погладил его по шее и, вытащив из кармана кусок хлеба (надо думать, свой собственный завтрак), сунул его прямо в разинутую пасть Фомы.

Начинало темнеть, когда, благополучно перебравшись через забор Большого загона, мы увидели внизу, в котловане, четырехугольные, раздутые ветром паруса палаток, зеленые вагончики и высокий шест, на котором раскачивался фонарь. Это был табор.

Здесь жили механики, учетчики, тракторные рулевые и другие рабочие зернового совхоза. Здесь, окруженные колючей проволокой, стояли цистерны с горючим и между ними столб, на котором был выжжен череп с двумя перекрещивающимися костями.

Огромный комбайн стоял здесь, похожий на старинный парусный корабль морских пиратов.

Здесь были те самые тракторы, которыми так интересовался мальчик, не любивший зверей.

А в стороне от палаток стояли грейдеры — длинные, угрюмые машины, которыми прокладывают дороги.

Петька приостановился.

— Вот тебе на, — сказал он с беспокойством, — это еще что такое?

Я посмотрел: по левую руку от табора, далеко в степи, видны были облака дыма, темно-прозрачные, круглые, освещенные снизу.

— Ну что ж такого, это стерня горит, — сказал я.

— Нет, не стерня. — Петька прикрыл глаза ладонью. — Это, брат, опытное поле горит.

Опытное поле? Я вспомнил, как, беспокоясь за него, Чеберда отказался от поездки в Асканию и потом всю дорогу я доказывал ему, что ничего за этот день не случится с его опытным полем. Горит? Стало быть, он беспокоился не напрасно!

Петька давно уже со всех ног бежал по направлению к табору. Я шел все быстрее и быстрее. Вот, наконец, походные кухни, и таборные палатки, и знакомый душ, построенный из ящиков, в которых пришли «катерпиллеры» — любимые Петькины тракторы.

Я обошел душ, при свете карбидного фонаря люди, впряженные в поясные ремни, вертели круглую клетку колодезного столба, и две бадьи на цепях попеременно спускались в глубокий колодец.

Оглушительный крик стоял вокруг колодца; клетка, по которой шла цепь, дрожала от напряжения, а старая, разбитая на все четыре ноги колодезная кляча стояла подле и с тупым изумлением смотрела на столб, который за всю свою жизнь еще ни разу, должно быть, не вертелся с такой быстротой.

Огромный ящик, в который выливали воду, был уже почти полон, два небольших трактора, впряженных в оглобли водовозных бочек, стояли подле него, и Куликов, лохматый, страшный, в расстегнутом

грязном комбинезоне, стоял на одной из них, распоряжаясь работой.

Я окликнул его — от только махнул рукой.

А Чеберду я нашел в вагончике, в таборной конторе.

Похудевший, почерневший, он стоял у телефона, и трубка дрожала в его руке. Он молчал, когда я вошел. Должно быть, со станции не отвечали.

Немного погодя он тихо нажал рычажок. Всё не отвечали.

Он нажал еще раз.

В конторе было полутемно, только «летучая мышь» освещала узкие нары.

Тихий, сутулый, стоял Чеберда у телефона и молчал. Он повесил трубку, наконец, и обернулся ко мне.

— Не отвечают, линия повреждена, — не своим голосом сказал он.

— Линия повреждена, должно быть, столбы повалило, — повторил он Куликову, который подбежал к нему, едва Чеберда показался на ступеньках конторы. — Ничего не поделаешь, надо ехать.

— Куда?

— На Главный хутор.

— Зачем?

— За пожарной командой.

Куликов вдруг взялся обеими руками за голову. Он покачал головой, а потом с размаху ударил себя кулаком в грудь.

— Да на чем же ехать-то? — прокричал он с отчаянием. — Все машины в разгоне, лошадей нет, не на своих же двоих за тридцать пять километров?

Я припомнил на следующий день, что Петька вер-



К стр. 235.

телся где-то неподалеку от нас во время этого разговора. Сперва он ходил кругом да около, а потом подошел и встал рядом с Чебердой. Маленький, черный, стоял он, тюбетейка торчала на голове, глаза так и бегали, и когда Куликов заорал, Петька заглянул ему прямо в рот.

Но вскоре он пропал куда-то, а тут же оказалось, что нужно было бежать в кладовую за лопатами, в кухню за ведрами, и я забыл о нем.

А между тем Петька выслушал разговор с вниманием и каждое слово, как говорится, намотал на ус.

Отойдя от нас, он тихонько пошел вдоль палаток, задумавшись, не обращая никакого внимания на поднявшуюся в таборе суматоху. Так он шел, а потом приостановился, вынул из карманов руки и во весь дух пустился к Большому загону.

Темно было, хоть глаз выколи, когда он перелез через забор. Темно и тихо, только разбуженные скворцы, принявшие, должно быть, зарево пожара за рассвет, болтали свой вздор, набранный всюду, где только они побывали.

Петька посвистал. Потом прислушался и снова посвистал. Так-то, посвистывая да прислушиваясь, он шел некоторое время по Большому загону.

— Фома! — наконец сердито позвал он.

Блеянье овец, свист пастухов послышались в ответ, ржанье жеребят, кваканье лягушек, шум мельниц, лай собак — это скворцы подражали звукам, которые они слышали в течение дня.

Должно быть, не менее получаса бродил Петька по Большому загону. По временам он оглядывался на зарево, поднимавшееся все выше и выше, уже полнеба было покрыто неподвижным темно-

красным отражением горящей степи, и начинал искать страуса еще старательнее и упорней.

Он уже совсем было отчаялся найти его, когда большая, высокая груда перьев на длинных ногах вдруг вышла навстречу ему из темноты. Это был страус.

— Ну, куда запропастился? — спросил его Петька с укоризной.

Он вывернул карманы, высыпал на ладонь хлебные крошки.

— На, брат, больше пока нету, приедем, курятиной накормлю, — сказал он и пошел вдоль забора, а страус пошел за ним.

Так они добрались до калитки, которая вела прямо в степь из Большого загона.

Петька размотал проволоку, запиравшую калитку вместо засова, и страус, наклонив голову, чтобы не стукнуться о верхнюю доску, вышел в степь.

— Ну что, брат, полный ход, третья скорость? — спросил Петька.

Фома стоял перед ним, моргая, положив голову на бок. Он, понятно, не умел говорить, но если бы умел, так сказал бы, без сомнения: «Ну что же, брат, полный так полный. Третья так третья!» Такой у него был вид.

Но сесть на него верхом — это было не так-то просто. Держа его одной рукой за шею, Петька вскарабкался на забор.

— Ну, страусик милый, теперь держись, — сказал он и сел на страуса, как на коня.

Спустив ноги между крыльями и шеей, он сидел на том месте, которое у лошадей называется загривком, и тихонько свистал.

И страус, раскачиваясь, сделал первый шаг...

Все это Петька рассказал мне на следующий день. Конечно, он не вдавался в подробности, а говорил кратко, хоть и не всегда ясно, по той причине, что пересыпал свой рассказ замысловатыми автомобильными словами.

О том, например, как он слетал со страуса на крутых поворотах, он упомянул вскользь, между прочим. О том, что в двух-трех километрах от Главного хутора страус вдруг стал, как осел, и ни с места, он сказал загадочно: «Тут мой мотор забуксовал, и мне пришлось поддать ему газу».

О том, как при въезде в Главный хутор страус наступил на выводок спящих утят и торжественно проглотил их всех, одного за другим, а потом заглянул через разбитое окошко в кооператив и закусил утят дверной петлей, валявшейся без присмотра на прилавке, Петька тоже рассказал кратко:

— После утят я давай рулить его к пожарному депо, а он задним ходом пошел к церабкоопу. Я только хотел притормозить, а он сунул голову в окно, сожрал петлю — и айда дальше.

О том же, как был встречен в Главном хуторе мальчик верхом на африканском страусе, об этом он и совсем ничего не рассказал. Об этом я узнал от одного знакомого механика.

Он работает в третьей смене, этот механик, а третья смена работает ночью. Вот он сидел в кухне и ел суп, а кухарка жарила для него оладьи на плите.

Вдруг дверь распахнулась, и в кухню вошел страус. Кухня была большая, но все-таки весь он не мог войти, и хвост остался торчать наружу. Кухарка опрокинула сковородку с оладьями в огонь, грохнулась

на пол и завизжала, а механик подавился супом и от растерянности вскочил на стол. Тут он разглядел, что верхом на страусе сидит мальчишка.

— Где директор?—спросил мальчишка и заболтал от нетерпения ногами.—Давай его сюда, пятый табор горит, пускай пожарную команду высылает...

А между тем, пока Петька на трех четвертях лошади мчался на Главный хутор за пожарной командой, мы, ничего не зная о его затее, воевали как могли с бедой, нежданно-негаданно свалившейся на табор.

Два трактора двинулись вокруг палаток навстречу друг другу, и за каждым, пропахивая широкую полосу, которую не мог перешагнуть огонь, шел трехлемешный плуг.

Куликов, отчаянный, косматый, вел один из этих тракторов, и, хотя машина шла со всею скоростью, на которую она была способна, он все-таки ругал ее последними словами. Ему все было мало, все мерещилось, что трактор очень медленно идет. И трактор так лязгал, скрипел, трещал, что, кажется, готов был от усердия развалиться на составные части.

А мы с Чебердой отправились спасать опытное поле.

Шаткие темные столбы дыма стояли над степью. ветер гнал их прямо на нас, и едва мы отъехали от табора два-три километра, как уже дышать было нечем. Я посмотрел на Чеберду — он сидел сгорбившись, угрюмо поджав рот. И я не решился сказать ему, что я думаю насчет нашей затеи.

Так мы ехали, и становилось все душней и душней, слезы проступали на глазах, я насилу удерживался от кашля.

Опытное поле было теперь не более как в полуверсте от нас, над ним стояла красная, кривая луна без лучей, и все было так, как бывает, когда смотришь через закопченное стекло во время солнечного затмения.

— Здесь, налево! — крикнул рулевому Чеберда.

И мы свернули налево.

На «катерпиллере», тащившем за собой два трехлемешных плуга, мы должны были пересечь опытное поле, которое было в ширину ни больше, ни меньше, как пять километров, — вот что задумал Чеберда.

И не целинные земли должны были мы вспахать, не стерню, нет, — созревшие хлеба, которые косить бы нужно, а мы мяли их тяжелой машиной, засыпали вывороченной плугом землей.

Я видел, как по правую руку скользил параллельно с нами огонь, то подходя к машине так близко, что испуганный тракторист невольно поворачивал руль, то удаляясь в хлеба, легкий, осторожный и рыжий.

Мне подумалось, что он обгоняет нас, и я уже совсем было собрался сказать об этом Чеберде (он все сидел, молчаливый, угрюмый, и плечи его посерели от пепла), но он предупредил меня.

— Обходит! Налево! — крикнул он рулевому.

И снова мы повернули налево.

Поминутно протирая слезящиеся глаза, я смотрел на гулявшие в хлебах красно-рыжие фигуры огня. Он вовсе не казался таким уж грозным, и вообще не было видно разных страшных картин, о которых рассказывали в своих книгах Фенимор Купер и другие, писавшие про степные пожары.

Он был легкий, этот огонь, осторожный и стлался по земле так низко, что, если бы не колосья, кото-

рые вдруг вспыхивали и рассыпались пеплом, его можно было и совсем потерять из виду.

Но зато небо было такое низкое, что стоило, кажется, только встать на ноги, чтобы достать до него головой. Оно было низкое и тяжелое, террасами стлался дым, и медная луна висела среди окрашенных заревом туч.

— Обходит! крикнул Чеберда. — Налево!

Когда на этот раз мы повернули налево, я увидел, как несколько черных шариков выкатилось из дымящейся пшеницы и перебежало через примятую нашей машиной полосу. Это были ежи, удиравшие от огня.

А за ежами, смешно подпрыгивая, пробежал длинноухий тушканчик.

Чеберда встал, надвинул кепку на лоб, и тень от его головы и острых плеч упала на левую руку. Он стоял и смотрел исподлобья не на горевшее поле, которому было отдано столько трудов и забот, а в степь, в ту сторону, где смутно угадывались белые паруса палаток.

— Он обходит нас кольцами, — хрипло и устало сказал Чеберда. — Он обгоняет нас, ничего с ним поделать нельзя. Мы еще и до середины поля не доберемся, а он уже далеко в степь зайдет. В степь зайдет! — вдруг закричал он. — В степь! А что, если они базу горючего опахать не успели?

Только теперь я понял, в какой опасности находится табор, да и не только табор — вся окрестная степь.

База горючего, та самая, которая до отказу была набита цистернами с керосином, бочками с лигроином, банками с бензином, та самая, посреди которой стоял столб, а на столбе череп с двумя скрещенными

костями, — эта база была расположена между табором и опытным полем. И если огонь перекинется в степь...

Два голубых луча вдруг легли в темноте, в той стороне, где проходила соединявшая табор с Главным хутором дорога.

Звон колокольчиков послышался и рев сирены.

Это был отчаянный, грубый рев, но нам он показался в эту минуту милее самой веселой песни.

— Стой! — крикнул Чеберда рулевому.

И мы остановились. Все ближе слышался этот рев, все громче заливался колокол, а голубые снопы автомобильных фар тянулись к нам, как длинные дружеские руки. И вот, наконец, большая красная машина вылетела из-за поворота дороги. Пожарные в широких брезентовых штанах ехали на ней стоя, и медные каски блестели в отогнутом назад факельном свете. Один из них вертел ручку сирены, другой звонил в колокольчик, а третий — маленький усач — дул в трубу. Так с ревом, с грохотом, со звоном машина на полном ходу обогнула наш трактор и остановилась, и вдруг все пожарные разом скатились с нее и побежали к нам.

Наутро, грязные, закоптелые, мы сидели под тентом в кухне и пили чай с медом. Ни табор, ни база горючего не были тронуты огнем, а опытное поле сгорело, и только на четверть его удалось отстоять.

Долго пили мы и молчали. Мы все были тут — и Чеберда, и Куликов, и пожарные, и Петька — мальчик, не любивший зверей. А страус стоял рядом с нами, привязанный за ногу к походной кухне, и моргал.

Я первый кончил свой чай и отдал чашку соседу.

— Ну что, Петя, — сказал я, — вот ты говорил, что звери никуда не годятся, что они все очень слабенькие. А смотри-ка, если бы не твой Фома, пожалуй, вся бы степь от Аскании до самого Азовского моря сгорела.

Все посмотрели на страуса. Он переступил с ноги на ногу, положил голову на бок и заморгал, заморгал...

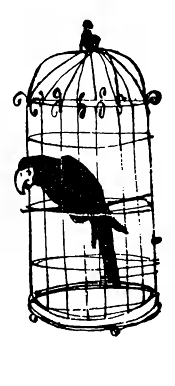
— Да, — сказал Петька и вылил свой чай в глиняную суповую миску. Он накрошил туда же хлеба, луку, сунул чашку страусу под нос. Ласково потрепал его по шее и сел на свое место.

— Да, — повторил он, — но ведь это только к случаю так пришлось, что все машины были в разгоне. А найдись тут на таборе хоть завалящий «форд»...

Петька вдруг приостановился и зажмурил один глаз. Он зашептал, зашептал, зашевелил пальцами, потом прикусил губу и зажмурил другой глаз. Он считал в уме.

— Если в «форде», скажем, двенадцать с половиной сил, а страус — три четверти лошади ровно, ну-ка, прикинь, во сколько раз быстрее я доехал бы до Главного хутора? В шестнадцать и одна восьмая раз...

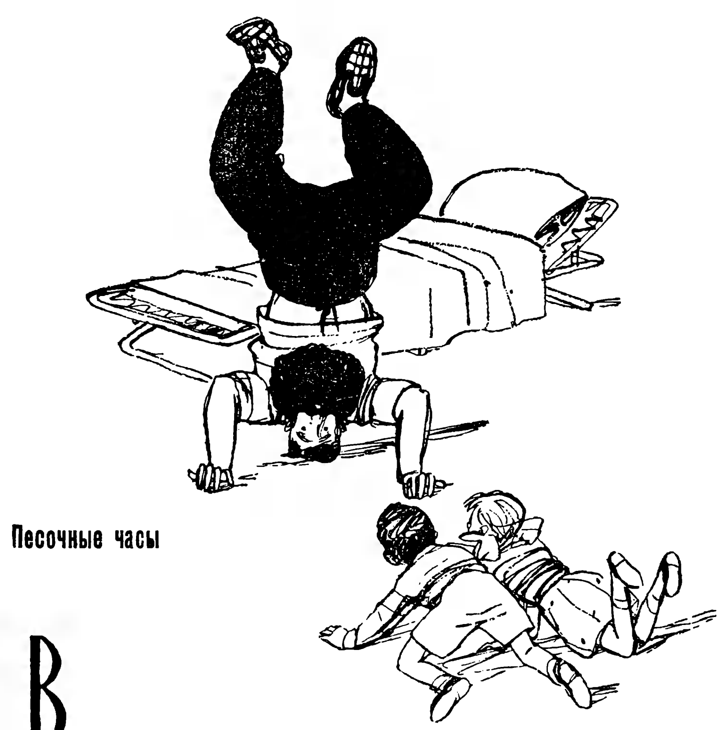
— Ну, вот и ошибся, — сказал я. — Одно дело — скорость, а другое — сила. В шестнадцать и две трети.

из книги

СКАЗОК



Песочные часы

В пионерском лагере появился новый воспитатель. Ничего особенного, обыкновенный воспитатель! Конечно, большая черная борода придавала ему странный вид, потому что она была большая, а он маленький. Но дело было не в бороде! Если бы дело было в бороде, сказка так и называлась бы.

В этом пионерском лагере был один мальчик. Его звали Петька. Потом там была одна девочка.

Ее звали Таня. Таня была храбрая. Все говорили ей, что она храбрая, и это ей очень нравилось. Кроме того, она любила смотреть в зеркало, и хотя каждый раз находила в зеркале только себя, а все-таки смотрела и смотрела.

А Петька был трус. Ему говорили, что он трус, и как ему ни было стыдно, но он отвечал, что зато он умный. И верно, он был умный и замечал то, что другой и храбрый не заметит.

И вот однажды он заметил, что новый воспитатель каждое утро встает очень добрый, а к вечеру становится очень злой. Это было удивительно! Утром ты хоть что у него попроси — никогда не откажет! К обеду он был уже довольно сердитый, а после мертвого часа только гладил свою бороду и не говорил ни слова. А уж вечером!.. Лучше к нему не подходи! Он сверкал глазами и рычал.

Конечно, ребята пользовались тем, что по утрам он добрый. В воде сидели часа по два, стреляли из рогатки, дергали девочек за косы. Каждый делал, что ему нравилось. Зато уж после обеда — нет! Все ходили смирные, вежливые и только прислушивались, не рычит ли где-нибудь Борода — так его прозвали.

А некоторые нечестные ребята, которые были ябеды, те ходили к нему жаловаться именно вечером, перед сном. Но он обыкновенно откладывал наказание на завтра, а завтра уже вставал добрый-предобрый. С добрыми глазами, добрыми руками и с доброй длинной черной бородой!

Это была загадка! Но это была еще не вся загадка, а только половина.

Петька очень любил читать: должно быть, поэтому он и был такой умный. И вот он повадился чи-

тать, когда другие ребята еще спали. Вы-то не делайте этого, дети, потому что в постели читать очень вредно! Но Петька читал — ему было все равно, что это вредно.

И вот однажды, проснувшись рано утром, он вспомнил, что оставил свою книгу в читальне. А читальня была рядом с комнатой Бороды, и, когда Петька пробегал мимо, он подумал, что очень интересно: а какой Борода во сне? Злой или добрый? Кстати, дверь в его комнату была открыта, не очень, а как раз, чтобы заглянуть. И Петька подошел на цыпочках и заглянул.

Знаете, что он увидел? Борода стоял на голове! Пожалуй, можно было подумать, что это утренняя зарядка. Но все-таки это не было похоже на утреннюю зарядку, потому что Борода постоял немного, а потом вздохнул и сел на кровать. Он сидел очень грустный и все вздыхал. А потом — раз! И он снова стал на голову, да так ловко, точно это было для него совершенно то же самое, что стоять на ногах. Вот это действительно была загадка!

Конечно, Петька решил, что Борода прежде был клоуном или акробатом. Но зачем же ему теперь-то стоять на голове, да еще рано утром, когда на него никто не смотрит? И почему он так вздыхал и так грустно качал головой?

Петька думал и думал, и хотя он был очень умный, но все-таки ничего не понимал. На всякий случай он никому не рассказал, что новый воспитатель стоял на голове — это была тайна! Но потом не выдержал и стал думать: кому бы все-таки рассказать? И рассказал Тане.

Конечно, Таня сперва не поверила.

— Врешь, — сказала она.

Она стала хохотать и украдкой посмотрела на себя в зеркальце: ей было интересно, какая она, когда смеется.

— А тебе это не приснилось?

— Нет.

— Будто не приснилось, а на самом деле приснилось. Это бывает, что не сон, не сон, а потом оказывается — сон.

Но Петька дал честное слово, и тогда она поверила, что это не сон.

А нужно вам сказать, что Таня очень любила нового воспитателя, даром что он был такой странный. Ей даже нравилась его борода; он часто рассказывал Тане разные истории, и Таня готова была слушать их с утра до ночи.

И вот на другое утро — весь дом еще спал — Петька и Таня встретились у читальни и на цыпочках пошли к Бороде. Но дверь была закрыта, а через замочную скважину они ничего не увидели, только услышали, как Борода вздыхает. А нужно вам сказать, что окно этой комнаты выходило на балкон, и если влезть по столбу, можно было увидеть, стоит Борода на голове или нет. Петька струсил, а Таня полезла. Она влезла и посмотрела на себя в зеркальце, чтобы узнать, не очень ли она растрепалась. Потом на цыпочках подошла к окну да так и ахнула: Борода стоял на голове!

Тут уж и Петька не выдержал. Он хотя и был трус, но любопытный, а потом ему нужно было сказать Тане: «Ага, я тебе говорил!» Вот влез и он, и они стали смотреть в окно и шептаться.

А нужно вам сказать, что это окно открывалось

внутрь. Когда Петька и Таня налегли на него и стали шептаться, оно вдруг распахнулось. Раз! — и ребята хлопнулись прямо к ногам Бороды, то есть, вернее, не к ногам, а к голове, потому что он стоял на голове.

Если бы такая история произошла вечером или после мертвого часа, несдобровать бы тогда Тане и Петьке! Но Борода, как известно, по утрам бывал добрый-предобрый. Поэтому он встал на ноги и только спросил ребят, не очень ли они ушиблись.

Петька был ни жив ни мертв, даром что такой умный. А Таня — ничего и даже вынула зеркальце, чтобы посмотреть, не потеряла ли она бантик, пока летела.

— Ну что ж, ребята, — грустно сказал Борода, — я мог бы, конечно, сказать вам, что доктор прописал мне стоять на голове или что я прежде был акробатом. Но не надо врать. Вот моя история.

Когда я был маленьким мальчиком — таким, как ты, Петя, я был очень невежливый. Никогда, вставая из-за стола, я не говорил маме спасибо, а когда мне желали спокойной ночи, только показывал язык и смеялся. Никогда я вовремя не являлся к столу, и нужно было тысячу раз звать меня, пока я, наконец, отзывался. В тетрадях у меня была такая грязь, что мне даже самому было неприятно. Но раз уж я был невежливый, не стоило следить и за чистотой в тетрадях. Плохой так плохой! Мама говорила: «Вежливость и аккуратность!» Я был невежливый — стало быть, и неаккуратный.

Никогда я не знал, который час, и часы казались мне самой ненужной вещью на свете. Ведь и без

часов известно, когда хочется есть! А когда хочется спать, разве без часов не известно?

И вот однажды к моей няне (у нас в доме много лет жила старая няня) пришла в гости одна старушка. Только что она вошла, как сразу стало видно, какая она чистенькая и аккуратная. На голове у нее был чистенький платочек, а на носу чистенькие очки в светлой оправе. В руках она держала чистенькую палочку, и вообще она была, должно быть, самая чистенькая и аккуратная старушка на свете.

И вот она пришла и поставила палочку в угол. Очки она сняла и положила на стол. А платочек тоже сняла и положила себе на колени.

Конечно, теперь мне понравилась бы такая старушка. Но тогда она мне почему-то ужасно не понравилась. Поэтому, когда она вежливо сказала мне: «Доброе утро, мальчик!», я даже не ответил ей «орту еорбод», что все-таки тоже значит «доброе утро», хотя и наоборот. Я показал ей язык и ушел.

И вот что я сделал, ребята! Я потихоньку вернулся, залез под стол и стащил у старушки платочек. Мало того, я стащил у нее из-под носа очки. Потом я надел очки, повязался платочком, вылез из-под стола и стал ходить, сгорбившись и опираясь на старушкину палку.

Конечно, это было очень плохо. Но мне показалось, что старушка не так уж обиделась на меня. Она только спросила, всегда ли я такой невежливый, а я вместо ответа показал ей язык.

«Слушай, мальчик, — сказала она, уходя. — Я не могу научить тебя вежливости. Но зато я могу научить тебя точности, а от точности до вежливости, как известно, только один шаг. Не бойся, я не пре-

вращу тебя в стенные часы, хотя и стоило бы, потому что стенные часы — это самая вежливая и точная вещь в мире. Никогда они не говорят лишнего и только знай себе делают свое дело. Но мне жаль тебя. Ведь стенные часы всегда висят на стене, а это скучно. Лучше я превращу тебя в песочные часы. Песочные часы тоже очень хорошая штука».

Конечно, если бы я знал, кто эта старушка, я бы не стал показывать ей язык. Это была фея Точности и Вежливости — недаром она была в таком чистеньком платочке, с такими чистенькими очками на носу.

И вот она ушла, а я превратился в песочные часы. Конечно, я не стал настоящими песочными часами Вот у меня, например, борода, а где же видана у песочных часов борода! Но я стал совсем как часы. Я стал самым точным человеком на свете. А от точности до вежливости, как известно, только один шаг

Наверно, вы хотите спросить меня, ребята: «Тогда почему же вы такой грустный?» Потому что самого главного фея Вежливости и Точности мне не сказала. Она не сказала, что каждое утро мне придется стоять на голове, потому что за сутки песок пересыпается вниз, а ведь когда песок пересыпается вниз в песочных часах, их нужно перевернуть вверх ногами. Она не сказала, что по утрам, когда часы в порядке, я буду добрым-предобрым, а чем ближе к вечеру, тем буду становиться все злее. Вот почему я такой грустный, ребята! Мне совсем не хочется быть злым, ведь на самом деле я действительно добрый. Мне совсем не хочется каждое утро стоять на голове. Пока я был мальчиком, это было еще ничего, а теперь неприлично

и глупо. Я даже отрастил себе длинную бороду, ребята, чтобы не было видно, что я такой грустный. Но мало помогает мне борода!

Конечно, ребята слушали его с большим интересом. Петька смотрел ему прямо в рот, а Таня даже ни разу не взглянула в зеркальце, хотя было бы очень интересно узнать, какая она, когда слушает историю о песочных часах.

— А если найти эту фею, — спросила она, — и попросить, чтобы она снова сделала вас человеком?

— Да, это можно сделать, конечно, — сказал Борода. — Если тебе меня действительно жаль.

— Очень, — сказала Таня. — Мне вас очень жаль, честное слово. Тем более, если бы вы были мальчик, как Петька, тогда ничего. А воспитателю стоять на голове неудобно.

Петька тоже сказал, что да, жаль, и тогда Борода дал им адрес феи Вежливости и Точности и даже попросил их похлопотать за него.

Сказано — сделано! Но Петька вдруг испугался. Он сам не знал, вежливый он или невежливый. А вдруг фее Вежливости и Точности захочется и его во что-нибудь превратить?

И Таня отправилась к фее одна.

Без сомнения, это была самая чистенькая комната в мире! На чистом полу лежали разноцветные чистые половики. Окна были так чисто вымыты, что даже нельзя было определить, где кончается стекло и начинается воздух. На чистом подоконнике стояла герань, и каждый листик так и блестел, точно фея начистила его зубным порошком.

В одном углу стояла клетка с попугаем, и у него был такой вид, как будто он каждое утро моется мы-

лом. А в другом — висели ходики. Что это были за чудные ходики! Сразу было видно, что это самая вежливая и точная вещь в мире. Конечно, они не говорили ничего лишнего, а только «тик-так», но это значило: «Вы хотите узнать, который час? Пожалуйста».

А сама фея сидела у стола и пила черный кофе.

— Здравствуйте! — сказала ей Таня.

И поклонилась так вежливо, как только могла. При этом она посмотрела в зеркальце, чтобы узнать, как это у нее получилось.

— Ну что же, Таня, — сказала фея, — я ведь знаю, зачем ты пришла. Но нет, нет! Это очень противный мальчишка.

— Он уже давно не мальчишка, — сказала Таня. — У него длинная черная борода.

— Ну ладно, — сказала фея, — для меня он еще мальчишка. Нет, пожалуйста, не проси за него! Я не могу забыть, как он стащил мои очки и платочек и как он передразнивал меня, сгорбившись и опираясь на палку. Надеюсь, что с тех пор он довольно часто обо мне вспоминает.

Таня подумала, что с этой старой тетушкой нужно быть очень вежливой, и на всякий случай поклонилась ей снова. При этом она снова посмотрела в зеркальце, чтобы узнать, как это снова у нее получилось.

— А может быть, вы все-таки его расколдовали бы? — попросила она. — Мы его очень любим, особенно по утрам. А если в лагере узнают, что ему приходится стоять на голове, над ним станут смеяться. Вы не поверите — мне его так жаль, что я просто не знаю.



— Ах, тебе его жаль, — заворчала фея, — это другое дело. Очень хорошо, что тебе его жаль! Это первое условие для того, чтобы мое колдовство пропало. Но под силу ли тебе второе условие?

Таня поклонилась ей в третий раз и спросила:

— Какое же?

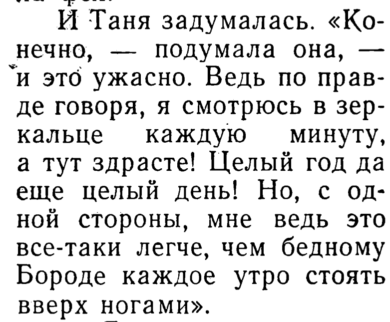
— Ты должна отказаться от того, что тебе нравится больше всего на свете. — И фея показала на зер-

кальце, которое Таня как раз вынула из кармана, чтобы узнать, как она выглядит, когда так вежливо разговаривает с феей. Ты не должна смотреться в зеркальце ровно год и один день.

Вот тебе раз! Этого Таня не ожидала. Как! Целый год не смотреться в зеркало? А как же бал? Завтра в пионерском лагере прощальный бал, и Таня как раз собиралась надеть новое платье, то самое, которое она хотела надеть целое лето. Не надевать же его на пляж или в лес за грибами!

Понимаете, ведь это очень неудобно, — сказала она. — Например, утром, когда заплетаешь косы. Как же без зеркала? Ведь я тогда буду ходить трепаная, и вам самой это не понравится.

— Как хочешь, — сказала фея.



И Таня задумалась. «Конечно, — подумала она, — и это ужасно. Ведь по правде говоря, я смотрюсь в зеркальце каждую минуту, а тут здрасте! Целый год да еще целый день! Но, с одной стороны, мне ведь это все-таки легче, чем бедному Бороде каждое утро стоять вверх ногами».

— Я согласна, — сказала она. — Вот мое зеркальце. Я приду за ним через год.

— И через день, — проворчала фея.

И Таня отдала ей свое зеркальце и вежливо поклонилась. При этом ей захотелось узнать, как

это у нее получилось. Но, увы, это было уже невозможно.

И вот Таня вернулась в лагерь. По дороге она старалась не смотреться даже в лужи, которые попадались ей навстречу. Она не должна была видеть себя ровно год и день. Ох, это очень долго! Но она твердо решила, что так и будет. А раз она решила, значит так и будет.

Конечно, Петьке она рассказала, в чем дело, а больше никому, потому что хотя она и была храбрая, но все-таки побаивалась, что девчонки возьмут да и подсунут зеркальце — и тогда все пропало! А Петька не подсунет.

— Интересно, а если ты увидишь себя во сне? — спросил он.

— Во сне не считается.

— А если ты во сне посмотришься в зеркальце?

— Тоже не считается.

А Бороде она просто сказала, что фея расколдует его через год и день. И он обрадовался, но не очень, потому что не очень поверил.

И вот для Тани начались трудные дни. Пока жила в лагере, было еще ничего, потому что попросила Петьку:

— Будь моим зеркалом!

И он смотрел на нее и говорил, например, так: «кривой пробор» или «бант завязан косо». Он был очень хорошим зеркалом, потому что все замечал, даже то, что самой Тане в голову не приходило. Кроме того, он уважал ее за сильную волю, хотя и считал, что год не смотреться в зеркало — это просто ерунда. Он, например, хоть бы и два не смотрелся!

Но вот кончилось лето, и Таня вернулась домой.

— Что с тобой, Таня? — спросила ее мама, когда она вернулась. — Ты, наверно, ела черничный пирог?

— Ах, это потому, что перед отъездом я не видела Петьки, — отвечала Таня.

Она совсем забыла, что мама ничего не знает об этой истории. Но Тане не хотелось рассказывать: а вдруг ничего не выйдет?

Да, это была не шутка! День проходил за днем, и Таня даже забыла, какая она, а прежде думала, что хорошенькая. Зато теперь она воображала и воображала. Случалось, конечно, что она воображала себя красавицей, а сама сидела с чернильной кляксой на лбу! Случалось, что, наоборот, она казалась себе настоящим уродом, а сама была как раз ничего — такая румяная, с толстой косой, с блестящими глазами.

Но все это пустяки в сравнении с тем, что случилось во Дворце пионеров.

В городе, где жила Таня, должен был открыться Дворец пионеров. Вот это был дворец так дворец! В одной комнате стоял даже капитанский мостик, и можно было кричать в рупор: «Стоп! Задний ход!» В кают-компании ребята играли в шахматы, а в мастерских учились делать игрушки, и не какие-нибудь, а самые настоящие. Игрушечный мастер сидел в черной круглой шапочке и говорил ребятам: «Это так» или: «Это не так». Но лучше всех была зеркальная зала. В этой зале были зеркальные стены, и куда ни взглянешь, все было из зеркального стекла — столы, стулья и даже гвоздики, на которых в зеркальных рамках висели картины. Зеркала отражались в зеркалах, а эти зеркала в других, и зала казалась бесконечной.

Целый год ребята ждали этого дня, тем более что многие должны были выступить и показать свое искусство. Скрипачи по целым часам не расставались со скрипками, так что даже их родители, которые ими очень гордились, должны были время от времени закладывать уши ватой. Художники рисовали вовсю. Но среди детей были еще и танцоры. И больше всех любила танцевать Таня.

Как она готовилась к этому дню! Ленточки, которые заплетают в косы, она гладила восемь раз — ей все хотелось, чтобы в косах они оставались такими же гладкими, как на гладильной доске. Танец, который Таня должна была танцевать, она каждую ночь танцевала во сне. Она видела себя во сне и даже один раз смотрелась в зеркало. Но мало ли что, ведь это было во сне!

И вот наступил торжественный день. Скрипачи в последний раз исполнили свои менуэты и вальсы, и родители вынули вату из ушей, чтобы послушать, как их дети хорошо играют. Таня в последний раз протанцевала свой танец. Пора! И все побежали во Дворец пионеров.

Кого же Таня встретила, едва она вошла во дворец? Петьку. Петька был тут как тут. Правда, он не умел играть на скрипке или танцевать, но зато был очень умный, а ведь для умного всегда найдется место во Дворце пионеров.

Конечно, Таня прежде всего сказала ему:

— Будь моим зеркалом!

Он осмотрел ее со всех сторон и сказал, что все хорошо, только нос как картошка. Но Таня так волновалась, что ему не попало.

Был здесь и Борода. Открытие было назначено на

двенадцать часов утра, и он поэтому был еще добрый. Его посадили в первом ряду, потому что нельзя же человека с такой длинной, прекрасной бородой сажать во втором или третьем. Он сидел и с нетерпением ждал, когда выступит Таня.

И вот скрипачи исполнили свои вальсы и менуэты, а художники показали, как чудесно они рисуют, и Главный распорядитель с большим голубым бантом на груди прибежал и крикнул:

— Таня!

— Таня! Таня! На сцену! — закричали ребята.

— Сейчас будет танцевать Таня, — с удовольствием сказал Борода. — Но где же она?

В самом деле, где же она? В самом темном уголке, который тоже был довольно светлым, она сидела и плакала, закрыв лицо руками.

Я не буду танцевать, — сказала она Главному распорядителю. — Я не знала, что мне придется танцевать в зеркальном зале.

Что за глупости! — сказал Главный распорядитель. — Ведь это очень красиво. Ты увидишь себя сразу в сотне зеркал. Неужели тебе это не нравится? Первый раз в жизни встречаю такую девочку!

Но Таня сказала, что да, не нравится и что она не будет танцевать.

— Таня, ты обещала, значит, должна! — сказали ребята.

Это было совершенно верно: она обещала — значит, должна. И никому она не могла объяснить, в чем дело, только Петьке! Но Петька в это время стоял на капитанском мостике и говорил в рупор: «Стоп! Задний ход!»

— Хорошо, — сказала Таня, — я буду танцевать.

Она была в легком белом платье, таком легком, чистом и белом, что сама фея Вежливости и Точности, которая так любила чистоту, осталась бы им довольна. В косы, которые Таня уложила вокруг головы, были вплетены веточки снежного дерева, и она сама напоминала снежное дерево, если бы снежное дерево могло танцевать.

Прекрасная девочка! На этом все сошлись, едва она появилась на сцене.

«Однако, посмотрим, — сказали все про себя, — как она будет танцевать».

Конечно, она очень хорошо танцевала, особенно когда можно было кружиться на одном месте или кланяться, приседая или красиво разводить руками. Но странно: когда нужно было бежать через сцену, она останавливалась на полдороге и вдруг поворачивала назад. Она танцевала, как будто сцена была совсем маленькая, — а нужно вам сказать, что сцена была очень большая и высокая, как и полагается сцене во Дворце пионеров.

— Да, ничего, — сказали все. Но, к сожалению, не очень, не очень! Она танцует неуверенно. Она как будто чего-то боится!

И только Борода находил, что Таня танцует прекрасно.

— Да, но смотрите, как странно она протягивает руки перед собой, когда бежит через сцену, — сказали все. — Она боится упасть. Нет, эта девочка, пожалуй, никогда не научится хорошо танцевать.

Эти слова как будто донеслись до Тани. Как ветер, она понеслась по сцене — ведь в зеркальной зале было много ее друзей и знакомых, и ей очень хотелось, чтобы они увидели, как хорошо она умеет танцевать.

Больше она ничего не боялась, во всяком случае никто больше не мог сказать, что она чего-то боится.

И во всей огромной зеркальной зале был только один человек, который все понимал! Как же он волновался за Таню! Это был Петька.

«Вот так девочка!» сказал он про себя и решил, что непременно нужно будет стать таким же храбрым, как Таня. «Могу ли я поступить, как она?» — спросил он себя и решил, что, конечно, нет, потому что он трус. И он решил, что больше не будет трусом.

«Ох, только бы поскорее кончился этот танец!» — думал он, но музыка все играла, а раз музыка играла, Таня, понятно, должна была танцевать. И она танцевала все смелее и смелее. Все ближе подбегала она к самому краю сцены, и каждый раз у Петьки замирало сердце.

«Ну, музыка, кончайся», — говорил он про себя, но музыка все не кончалась. «Ну, миленькая, скорее», — все говорил он, но музыка знай себе играла да играла.

— Смотрите-ка, да ведь эта девочка прекрасно танцует! — сказали все.

— Ага, я вам говорил! — сказал Борода.

А в это время Таня, кружась и кружась, все приближалась к самому краю сцены. Ах! И она упала.

Вы не можете себе представить, какой переполох поднялся в зале, когда, еще кружась в воздухе, она упала со сцены! Все испугались, закричали, бросились к ней и испугались еще больше, когда увидели, что она лежит с закрытыми глазами. Борода в отчаянии стоял перед ней на коленях.

— Доктора, доктора! — кричал он.

Но громче всех кричал, разумеется, Петька.

— Она танцевала с закрытыми глазами! — кричал он. — Она обещала не смотреться в зеркало ровно год и день, а прошло еще полгода. Не бойтесь, что у нее закрыты глаза. В соседней комнате она их откроет!

Все это было совершенно верно! В соседней комнате Таня открыла глаза.

— Ох, как я плохо танцевала! — сказала она.

И все засмеялись, потому что она танцевала прекрасно.

Пожалуй, на этом можно было бы окончить сказку о песочных часах. Да нет, нельзя! Потому что на другой день сама фея Вежливости и Точности пришла к Тане в гости.

Она пришла в чистеньком платочке, а на носу у нее были чистенькие очки в светлой оправе. Свою палочку она поставила в угол, а очки сняла и положила на стол.

— Ну, здравствуй, Таня! — сказала она. И Таня поклонилась ей так вежливо, как только могла. При этом она подумала: «Интересно, а как это у меня получилось?»

— Ты исполнила свое обещание, Таня, — сказала ей фея. — Хотя прошло еще только полгода и полдня, но ты отлично вела себя за эти полдня и полгода. Что ж, придется мне расколдовать этого противного мальчишку.

— Спасибо тебе, фея, — сказала Таня.

— Да, придется расколдовать его, — с сожалением повторила фея, — хотя он вел себя тогда очень плохо. Надеюсь, с тех пор он чему-нибудь научился.

— О да! — сказала Таня. — С тех пор он стал

очень вежливым и аккуратным. И потом он уже давно не мальчишка. Он такой почтенный дядя, с такой длинной черной бородой!

— Для меня он еще мальчишка, — возразила фея. — Ладно, будь по-твоему. Вот тебе твое зеркальце. Возьми его! И помни, что в зеркальце не следует смотреться слишком часто.

С этими словами фея вернула Тане ее зеркальце и исчезла. Феи в сказках всегда исчезают, когда им больше нечего делать.

И Таня осталась вдвоем со своим зеркальцем.

— Ну-ка, посмотрим, — сказала она себе.

Из зеркальца на нее смотрела все та же Таня, но теперь это была уже большая Таня, решительная и серьезная, как и полагается девочке, которая умеет держать свое слово.

Конечно, вы хотите узнать, ребята, что теперь поделывает Борода? Фея расколдовала его, так что теперь он уже нисколько не похож на песочные часы — ни внутри, ни снаружи. Больше он не стоит по утрам на голове, ведь теперь это совершенно не нужно! Но по вечерам он еще иногда бывает злой, и, когда его спрашивают: «Что с вами? Почему вы такой злой?» — он вежливо отвечает: «Не беспокойтесь, пожалуйста, это привычка».

СОДЕРЖАНИЕ

Дорогие ребята!

Напишите нам, понравилась ли вам эта книга. Укажите свою фамилию, возраст, адрес.

Отзывы шлите по адресу: Москва, А-55, Сущевская ул., д. 21. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», массовый отдел.

Каверин Вениамин Александрович

ИЗ РАЗНЫХ КНИГ

М., «Молодая гвардия», 1961 стр. 240.
с илл.

Редактор *И. Авраменко*
Художественный редактор *В. Плешко*
Технический редактор *И. Егорова*

А06104. Подписано к печати 15/VII 1961 г.
Бум. 70×108 1/32. Печ. л. 7,5(10,3)+5 вкл.
Уч.-изд. л. 9,1. Тираж 100 000 экз. Цена 46 коп.
В ледерине 51 коп.
Заказ 432.

Типография «Красное знамя»
изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-55, Сущевская, 21.

46 коп.

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ